





выпуск 8

**Альманах
научной
фантастики**

Издательство
«ЗНАНИЕ»
Москва 1970

СОДЕРЖАНИЕ

Наука и фантазия (Предисловие С. Гансовского) —————	3
А. ПОЛЕЩУК	
Эффект бешеного Солнца —————	13
В. ЩЕРБАКОВ	
Сегодня вечером —————	123
Г. ГУРЕВИЧ	
Глотайте хирурга —————	129

Составитель С. ГАНСОВСКИЙ
АЛЬМАНАХ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ. ВЫПУСК 8

Редактор Н. ОГОРОДНИКОВА
Художник И. МОСКВИТИН
Художественный редактор Т. ДОВРОВОЛЬНОВА
Технический редактор Л. АТРОЩЕНКО
Корректор Г. ХРАПОВА

А 05244. Сдано в набор 1/IV 1969 г. Подписано к печати 6/VIII 1969 г. Формат бумаги 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Бум. л. 5,0. Печ. л. 10,0. Условн. печ. л. 9,3. Уч.-изд. л. 10,41. Тираж 170 000 экз. Издательство «Знание». Москва, Центр. Новая пл., д. 3/4. Заказ 796. Типография изд-ва «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.
Цена 30 коп.
Отпечатано с матриц в типографии изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, пр. Ленина, 49. Заказ № 611.

Наука и фантазия... Еще вчера казалось, что между ними пропасть. Слишком велика была разница между возможностями и мечтой, слишком долгий промежуток между моментом, когда выдвинута гипотеза, и минутой, когда ее удалось подтвердить и реализовать практически.

Новое время изменило эти отношения. Сегодня, говоря о науке, мы тут же почти невольно начинаем фантазировать, пытаемся заглянуть вперед, а принимаясь фантазировать, немедленно стараемся проверить сказанное данными современных знаний о природе и человеке. Они постоянно близки в нашем сознании — точное суждение ученого и дерзкий полет мысли писателя-фантаста. Высказанное фантастами вдруг оказывается предметом научного рассмотрения, высказанное учеными ошеломляет, поражает своей фантастичностью.

Эта близость двух понятий и важность занимаемого ими в нашем мышлении места обусловлены серьезными причинами. Во-первых, наша эпоха научна, если можно так выразиться, во-вторых, она фантастична как в смысле удивительно быстрых изменений, которым подвергаются едва ли не все сферы окружающей нас действительности, так и в том плане, что нам все чаще приходится вглядываться в будущее, предусматривать, фантазировать.

Научные открытия за последние сто лет преобразовали быт человека, переменили его взгляд на мир сильнее, чем несколько предшествующих тысячелетий человеческого существования. Сегодня научно-технологические знания в принципе позволяют пяти процентам населения прокормить остальные девяносто пять и еще создавать излишки. Наука и техника уменьшили расстояния на Земле, связали все ее части, заставили нас осознать, что мы пассажиры одного космического корабля, судьбой которого не имеет права самовластно распоряжаться какая-нибудь группа людей. В развитых странах прогресс знания сделал человека более здоровым, дал ему более высокий, чем прежде, жизненный уровень и больший досуг.

На глазах живущих ныне людей производство превращается в научное, достижения абстрактного и прикладного знаний проникают во все поры нашего бытия. Сегодня почти все, что окружает нас в городе, почти все, чем мы пользуемся, является элементами не природного, естественного, а научно-технологического, искусственного мира. Горожане живут в домах, сложенных не из бревен или дикого камня, а из бетонных блоков, они ходят по линолеуму, кафелю и асфальту, и на каждое сорванное с дерева яблоко приходится множество продуктов питания, потерявших в ходе сложной обработки первоначальный вкус, цвет и запах. Не заметив этого, мы переселились в мир «второй», искусственной природы.

Пожалуй, славяне, занимавшиеся земледелием десять веков назад, скорее поняли бы жизнь крестьянской общины прошлого столетия, чем человек, чудом попавший из середины XIX века в наш шумный XX. Слишком многое изменилось за небольшой исторический срок.

В одной из своих книг известный английский популяризатор Ричи Калдер рассуждает о том, что почувствовал бы новый Рип ван Винкль *, если бы он сто лет назад в Америке возле Нью-Йорка и проснулся сейчас. Давайте пофантазируем. Вот Рип ван Винкль пробуждается где-нибудь в лесной чаще, в уголке, случайно обойденном охотниками и туристами. Его встречает лесничий и, пользуясь портативной рацией, сообщает в город, что перед ним странный тип в необычной одежде, расспрашивающий о здоровье президента Авраама Линкольна. Через час направленные агентством «Ассошиэйтед Пресс» несколько вертолетов уже кружат над лесом, но их опережает телерепортер, который прыгнул с реактивного самолета на парашюте и успел заключить с Рипом ван Винклем контракт на несколько выступлений. Прежде чем бедняга успевает как следует прийти в себя, ему показывают сверху Нью-Йорк, небоскребы и улицы, сплошь забитые автомобилями...

Приземление, медицинский осмотр в поликлинике, Рипа рентгенируют, ему измеряют кровяное давление, электроэнцефалограф исследует волны его мозга, электрокардиограф проверяет работу его сердца, а «детектор лжи» — правдивость рассказанной им истории. Физиологи, офтальмологи, эндокринологи, гельминтологи, психологи и множество других суетятся вокруг старика, стараясь исследовать его и даже отщипнуть кусочек.

Скоростной лифт поднимает Рипа в телестудию, перед ним искусственное солнце, он видит на экране самого себя, всю исто-

* Парсонаж американской народной легенды, обработанной писателем Вашингтоном Ирвингом.

рию его доставки в Нью-Йорк. Потрясенный, он чешет в затылке, не подозревая, что каждый его жест и любое слово транслируются на всю страну и через океан.

Впервые в жизни он пробует мороженое, пищу приготовленную в электропечи или извлеченную из холодильника. Рипа одевают в искусственную шерсть и нейлон, он ощущает запахи, которых не существовало столетие назад. Ему предлагают пересадить сердце и почку, показывают на экране рентгеновский снимок его внутренних органов. По радиотелефону он говорит с Москвой, ему показывают электронный микроскоп и радиотелескоп, миниатюрный транзисторный приемник, лазеры и ракету, стартующую на Марс. В кабине самолета Рипа ван Винкля поднимают на десять тысяч метров над Землей, в глубоководной кабине опускают на пять километров под воду...

Это наука, наука, наука. Всего этого не было сто лет назад, половины не было даже три десятилетия назад. Мы не задумываемся над тем, что из всех ученых-исследователей, которых вообще знала история, 90 процентов живут сегодня, что именно на последние 50 лет падает основной объем конкретных научных достижений, которыми может похвастаться человечество. Сто веков лошадь была самым быстрым средством передвижения на Земле, и только за один век люди пересели с лошади на паровоз, на автомобиль, в самолет и ракетное устройство. Тысячекратно увеличилась скорость, с которой мы можем попадать из одного пункта в другой. новейшие телескопы тысячекратно увеличили нашу дальность зрения, электронные микроскопы — нашу способность видеть малое, благодаря новейшим энергетическим установкам в тысячу раз возросла мощь человека.

Блестящая эпоха! С этим «звездным часом человечества» не сравнятся, пожалуй, ни классическая древность, ни Возрождение. Прорыв во внутреннюю структуру ядра, начало и бурный расцвет кибернетики, применение антибиотиков в медицине, штурм тайны ДНК в биологии. На протяжении жизни одного-двух поколений точное знание выросло в решающий фактор для судеб человеческой цивилизации.

Наше время мы можем с полным правом назвать веком науки. Если ее во всем мире удастся направить на удовлетворение непосредственных нужд людей, если успеха точного знания повсюду будут использоваться для блага человека, а не во вред ему, мы можем смело считать, что перед человечеством еще миллионы, а возможно, и миллиарды лет развития ко все более и более прекрасному будущему.

Однако чтобы так получилось, мы должны прежде всего мо-

близовать нашу способность предвидеть, предсказывать, фантазировать. Не секрет, что неконтролируемые последствия развития науки могут приносить не только пользу людям, но также и новые тревоги и заботы. Автоматизация на Западе становится синонимом безработицы, и когда в контору фирмы вносят еще один тяжелый тщательно упакованный предмет, лица немногих оставшихся там конторщиков бледнеют... Многие сделано в борьбе с голодом и болезнями, и вместе с тем в развитых капиталистических странах все невыносимее становится жизнь в тесноте и слешке крупных городов. Резко подскочила кривая умственных заболеваний, растет преступность, распространяются нравственная опустошенность и скука, заставляющие обывателя искать спасения в алкоголе, наркотиках, азартных играх. Становится ясно, что триумф техники сам по себе еще не делает человека счастливым.

Наука, а также ее непосредственное приложение к практике — технический прогресс — имеют порой тенденцию к опасному слепому самодовлеющему развитию. Вспомним хотя бы известное «затемнение» в Америке. В одну из ноябрьских ночей 1965 года северо-восточная территория США и часть Канады погрузились во тьму, электрический свет и силовые установки самопроизвольно выключились. Началось с того, что отказало реле на станции у озера Онтарио. Вся сеть электроэнергии, рассчитанная на безаварийную работу, выключилась. Важно здесь не само происшествие, а то, что специалисты, пытавшиеся потом установить причинно-следственную связь событий, так и не сумели этого сделать.

Одна из американских газет следующим образом комментировала катастрофу:

«Северо-восточное кольцо было сложнейшим образом взаимосвязано и взаимообусловлено в своих частях. Однако только машины разговаривали между собой. Они задавали механические вопросы и получали механические ответы. Человек не имел непосредственного контроля над всей системой, и поэтому никто не может ответить на вопрос «Почему?». Но механическое, машинное, электронное мышление не было заинтересовано в том, чтобы олевать жителей близлежащих городов».

«Затемнение» в Америке и драма с английским танкером «Торрей-Кенyon», залившим нефтью французское побережье, погубившим там устричный промысел и курорты, — наглядные примеры того, что делает техника, вышедшая из-под контроля человека. Нет недостатка и в других, не столь ярких, но не менее тревожных предупреждениях. Земледельцы удобряют поля, но фосфор, не до конца поглощенный растениями, смывается в водоемы, уничтожая там все живое. Автомобиль — прекрасное средство сообщения, но

когда их становится слишком много, как в некоторых больших городах сегодня, извергаемые двигателями выхлопные газы уже несут серьезную угрозу здоровью горожан. Другими словами, имеется некая цена, которую человечество платит за поступь технологического прогресса, и в каждом отдельном случае важно знать, не теряем ли мы больше, чем приобретаем.

Развитию науки свойственна неравномерность. Ученые, например, задумываются над тем, как путем атомных взрывов извлечь воду из недр Луны, в то время как на Земле огромные территории страдают от засухи, а в некоторых американских городах вода, текущая из крана в квартирах, настолько загрязнена, что питьевую приходится привозить в бутылках. Эти и им подобные явления заставили обозревателя английского журнала «Нью сайентист» с горечью воскликнуть:

«Величайшая сила человечества — наука разобщена более, чем любая другая область. Наиболее заметной чертой современного научного взрыва является полное отсутствие цели, организации, этики и философии. Самая гигантская мощь, которой когда-либо обладала Земля, развивается в направлении куда попало».

Само собой разумеется, что слепой, не контролируемый и не планируемый характер развития науки и техники свойствен именно обществу так называемой «частной инициативы». Однако и в социалистическом мире мы не можем забывать о том, что результаты внедрения в экономику, в быт тех или иных технологических новшеств могут иметь порой двойственный характер. Всегда надо помнить, что возможности практического приложения успехов точного знания должны постоянно рассматриваться с точки зрения человеческого счастья, ибо сквозь линзы микроскопа нельзя увидеть наших целей и стремлений, а стрелки совершеннейших приборов не дают ответа на самые простые этические вопросы. Здесь рядом с точными науками должна вставать идеология в таких ее формах, как философские, социологические исследования, как художественная литература, в том числе и научно-фантастическая.

В критике существует тенденция относить начало жанра научной фантастики к Свифту, Рабле и даже ко времени Гомера. С этим трудно согласиться. Конечно, фантазия всегда была законной дочерью разума. Но жанр научной фантастики возник в эпоху, когда наука стала важнейшей производительной силой, когда научное знание стало играть решающую роль в судьбах человечества. Здесь причина возникновения нового направления в литературе, здесь объяснение глубокого, непрерывно растущего интереса читателей к нашему жанру...

Есть, наконец, и еще одна связь между наукой и фантазией,

которую выявил сегодняшний день. Речь идет об изменениях в методике научных открытий. Прежде техника предшествовала науке, последняя нередко вырастала из эксперимента, из опыта, причем случай часто выступал в качестве лаборанта. Сегодня открытие все чаще совершается в теории. Наряду с накоплением фактов и экспериментальных данных очень важным стал процесс абстрактных построений, творческих прыжков через несколько ступеней, где решающими моментами являются те, когда исследователь доверяется интуиции, когда он мечтает, фантазирует. Поэтому так любят фантастику ученые, поэтому многие из них сами являются авторами научно-фантастических произведений. Это — Обручев и Ефремов в Советском Союзе, Норберт Винер и Лео Силлард в США, Фред Хойл и Грей Уолтер в Англии и другие. Поэтому фантастика, «мысленный эксперимент», зовущий к дерзаниям, раскрывающий новые горизонты, снимающий налет обыденности с повседневного бытия, так ценится молодежью.

Итак — наука, итак — фантазия... В очередном альманахе «НФ» три советских писателя-фантаста выдвигают свои гипотезы.

Попытаемся с точки зрения сегодняшних знаний взглянуть на рассказ Г. Гуревича «Глотайте хирурга». Медицина будущего, а точнее — борьба со старостью. Заманчивая проблема и достаточно важная. Скажем прямо, что населению Земли в будущем суждено значительно постареть. Звучит угрожающе, но за этими словами скрывается весьма оптимистическое содержание. Есть подсчеты, что за все века прежнего существования средний возраст людей равнялся примерно лишь пятнадцати годам. Страшная цифра, говорящая о том, что большинство наших предков не имело зрелости, даже юности — только детство. Большинство погибало, так и не сумев развить и использовать составную часть разума — жизненный опыт. Конечно, «молодой мир» — звучит лестно, но за этим стоят голод, болезни, войны, и синонимом здесь будет «трагический», «несчастный». В настоящее время в развитых странах растет процент пожилых в общем составе населения и снижается процент детей. Это не значит, что детей становится меньше в абсолютных цифрах, просто успехи здравоохранения привели к тому, что люди живут дольше. Если завтрашнему и послезавтрашнему миру быть светлым, если он не будет угнетен классовым разделением и войнами, он сделается более пожилым, и значительно острее, чем сейчас, станет вопрос о том, чтобы жизнь была полноценной как в зрелом, так и в пожилом возрасте. Медицине XXI века и даже конца XX века придется реже, чем в наши дни, встречаться с так

называемыми «острыми состояниями» (инфекционные и другие тяжелые болезни), одной из существенных ее забот будет предупреждение старости, может быть, вообще искоренение всех сопутствующих ей неприятных явлений. Вероятно, это возможно в принципе.

В рассказе «Глотайте хирурга» есть своеобразная концепция причин старения. Трудно сказать, верна ли она. Что такое старость — результат ли утомления и изношенности организма, осуществление некоей генетической программы, следствие накопления токсинов в тканях, нарушение деятельности какого-то регулирующего органа или нескольких органов сразу? Увы, есть разные точки зрения на этот предмет. Мы даже не знаем, естественна ли смерть, ведь она всегда наступает случайно. Никто еще, наверное, не умирал от старости, а все — от вполне определенных заболеваний, которые могут поражать не только стариков, но даже и юных. А может быть, дело обстоит так, пусть автору этих строчек простят разыгравшуюся фантазию, что нашему организму свойственны колебания, что человек физически стареет до 150—160 лет, чтоб начать затем физически молодеть, начать новый цикл, и у нас лишь нет примеров, позволяющих наглядно убедиться в этом.

Одним словом, тема представляет широкий простор для размышлений, и Георгий Гуревич ведет их с полным уважением к сегодняшнему состоянию науки.

Парадоксальна, неправдоподобна на первый взгляд тема повести «Эффект бешеного солнца» Александра Полещюка — влияние Земли и даже влияние человека на процессы, происходящие в нашем светиле. Но неправдоподобие лишь кажущееся.

Летопись исследований влияния Солнца на Землю сравнительно коротка, и приятно отметить, что наиболее яркие страницы в ней принадлежат советским ученым. Еще недавно считалось, что космос пуст, что там действует один лишь закон всемирного тяготения; что поток света и гравитационные силы исчерпывают все отношения между нашей планетой и Солнцем. Пионером новой науки, гелиобиологии, выступил Александр Леонидович Чижевский, первым объединивший земные и космические явления, доказавший, что с солнечной активностью можно связать ряд явлений даже и в психике человека. Чрезвычайно смелая гипотеза все больше подтверждается сегодня статистической проверкой. Водный и климатический режим Земли, урожайность сельскохозяйственных культур, массовые заболевания животных, эпидемии гриппа у людей, частота случаев тяжелых заболеваний, самоубийств, процент автомобильных аварий — все это оказалось связанным с ритмами солнечной активности. Возникла возможность предсказывать эти явления, предпринимать профилактические меры.

Изучение системы Солнце — Земля шло и по другим направлениям. Выяснилось, что с солнечной деятельностью связано замедление вращения Земли, вернее, интенсивность замедления. Это удалось доказать сотрудникам Института земного магнетизма имени В. И. Афанасьева, а работники Института геофизики АН Грузии установили, что колебания так называемого «постоянного магнитного поля Земли» соотносимы с 22-летним циклом солнечных пятен. Прямую связь земной погоды с «погодой солнечной» обосновал астроном Б. М. Рубашев. Оказалось в конце концов, что мы живем «внутри Солнца», что его атмосфера, то есть весьма разреженные части солнечной короны, простирается далеко за пределы земной орбиты.

Все вышеизложенное обосновывает прямую связь — Солнце влияет на Землю. А как относительно обратной связи? Не исключено, что, как об этом пишет в своей повести А. Полещук, есть и обратная связь. Почему? Потому что влияет ведь Луна, спутник Земли, на Землю (приливы, отливы, торможение вращения и проч.). Поскольку закон всемирного тяготения действителен для известной нам части Вселенной, гигантская масса Земли, несущаяся вокруг Солнца, вызывает приливы и отливы жидких, точнее плазменных солнечных масс. Мне думается, речь должна идти не о возможности явления в принципе, а о мере влияния на него, о том, сумеет ли когда-нибудь человек дистанционно регулировать термоядерные процессы на Солнце.

Сегодня уже не всякий решится сказать, что такого никогда не будет. XX век отучил людей от категорических пророчеств. Конечно, исходя из вчерашнего опыта (а опыт, по необходимости, всегда является вчерашним), можно утверждать, что это невозможно.

Но так ли надежна опора на вчерашний день? В 1900-е годы в русском журнале «Нива» печатались предсказания о том, какой будет мода в 1950 году? Смешно читать сейчас на пожелтевших страницах об одежде священника, жандарма, монахини и горничной. Издателям и в голову не приходило, что через пятьдесят лет может не быть в России ни жандармов, ни горничных. Точно так же в Риме I века рассуждали, как изменится институт рабства в ближайшие две тысячи лет, и фантазия не простиралась до того, что попросту не будет рабства, а воцарится принципиально новый строй. Запретительные пророчества подводили и самых дальновидных. Не кто иной как Вальтер Скотт назвал «сумасшествием» проект освещения Лондона газовыми фонарями. Правда, наука развивалась тогда не с такой скоростью, и новшества без сегодняшней поспешности вторгались в жизнь. Интересно, что целый ряд открытий нашего столетия явился полной неожиданностью для со-

временников и никогда никем не предсказывался. В книге «Черты будущего» Артур Кларк приводит этот удивительный список, который мы процитируем лишь частично. Вот о чем никогда не думали прежде:

- Рентгеновские лучи.
- Ядерная энергия.
- Теория относительности.
- Мазеры и лазеры.
- Сверхпроводники, сверхтекучесть.
- Ионосфера, радиационные пояса...

Все это свалилось на людей, как снег в июле. А сколько таких «снегопадов» ожидает нас в ближайшие десятилетия и даже годы! Хочешь не хочешь, а приходится думать, что если человек напрягает свой творческий гений, результатом скорее будет триумф, чем поражение.

А к каким удивительным последствиям вели эти открытия! Ведь каждая, так сказать, прибавка к массе уже имеющихся знаний означает, что разум создает для себя новые проблемы, видит новые перспективы, ощущает возможность новых методов изучения природы, нового подхода к ее явлениям! Это лавина, каждый камень которой срывает с места десятки других. Даже не лавина, а вулкан, с неусыпаемой силой бьющий снизу вверх.

Таблицу в книге «Черты грядущего», где перечисляются как осуществленные, так и предполагаемые в будущем открытия, заканчивает у Артура Кларка слово «телепатия». Вот уж действительно один из эпицентров современных дискуссий, и как раз об этом проблемном вопросе написан небольшой рассказ молодого писателя Владимира Щербакова «Сегодня вечером».

В свое время Стефан Цвейг написал:

«Может быть, уже завтра физика, работающая со все более и более тонкими измерительными приборами, докажет, что то, что мы сегодня воспринимаем просто как напор душевной силы, есть все же нечто вещественное, есть доступная созерцанию тепловая волна, нечто от электричества или от химии, энергия, допускающая взвешивание и измерение, и тогда нам придется вполне серьезно считаться с тем, над чем наши отцы улыбались, как над дурачеством».

Другого взгляда придерживается крупнейший современный исследователь живого мозга, один из «отцов» электроэнцефалографии англичанин Грей Уолтер:

«Мы должны признаться, что на нынешней стадии развития науки не существует исследований активности мозга, которые проливали бы хоть какой-нибудь свет на особые формы поведения,

описываемые под названием второго зрения, ясновидения, телепатии, внечувственного восприятия и психокинеза».

То есть иначе говоря, наука не подтверждает существования эффекта телепатии. Естественно было бы прислушаться скорее к ученому, чем к романисту. Но и среди ученых нет согласия. Известный французский биолог профессор Реми Шовен (у нас переведено несколько его книг) считает бесспорно установленными факты телепатической связи в мире животных.

Ярым противником идей биосвязи является доктор физико-математических наук А. И. Китайгородский, а столь же горячим сторонником их — И. М. Коган, профессор, доктор технических наук, председатель секции биоинформации при правлении Московского научно-технического общества радиотехники и электросвязи имени А. С. Попова. И несмотря на разногласия, виднейшие советские ученые (в том числе академик А. Н. Колмогоров) высказались недавно за продолжение исследований.

В рассказе Щербакова речь идет о том, что телепатическая информация передается не электрическими волнами, а специфическим полем какой-то другой физической природы, что герою удастся создать преобразователь неизвестного поля в электрические волны и, усиливая их обычным способом, получить уверенную связь. Сегодняшний уровень знания позволяет с одинаковым успехом как возразить против такой постановки вопроса, так и поддержать ее. Впрочем, будь здесь все бесспорно, мы могли бы говорить не о фантазии, не о художественной литературе, а только о научно-популярной.

В отличие от фантастики капиталистического мира, слишком часто занимающейся мрачными пророчествами и злобными пророчествами, произведения советских фантастов исследуют прежде всего гуманные возможности, гуманные перспективы науки. Мы не можем быть вполне убеждены в том, что развитие науки о старости — геронтологии и развитие электроники пойдет именно теми конкретными путями, о которых говорят Георгий Гуревич и Владимир Щербаков. Но не приходится сомневаться в том, что человек все-таки победит старость, что в целом точное знание, как об этом пишут наши фантасты, будет служить миру и социальному прогрессу.

Думается, что обильно насыщенная научной информацией, ведущая к труду, пронизанная светлым оптимистическим мировоззрением новая книга альманаха «НФ» будет прочитана с интересом.

С. ГАНСОВСКИЙ

ЭФФЕКТ БЕШЕНОГО СОЛНЦА*

Бомбардировщик класса «Пи-175» выходил на посадку. Все шло как обычно. Пилот уменьшил стреловидность крыльев, и самолет скользил над пальмами, теряя высоту.

— Шасси! — закричал в микрофон наблюдатель. — Он не выпустил шасси!

Командующий воздушным соединением кинулся к открытой двери. Увиденное заставило его оцепенеть от ужаса: самолет, заходивший на посадку, был с полным бомбовым грузом.

— Шасси! — голос наблюдателя в динамике звучал хрипло. — Пилот девятой «бис», вы забыли выпустить шасси! Шасси, вы слышите?!

Те, кто видел момент первого соприкосновения бомбардировщика с посадочной полосой, никогда не забудут этого зрелища. Аэродром содрогнулся, и в то же мгновение самолет был уже высоко в воздухе; последовал еще удар, еще...

Аэродром ожил. Завыли сирены, и аварийные машины устремились к бетонной дорожке. Из ангара выскочил какой-то человек с топором в руке, и догнав пожарную машину, ловко вскочил на подножку. И тут раздался первый взрыв.

Генерал находился метрах в ста от самолета, когда увидел, что пламя уже сбито. Человек из ангара бил своим топором по плексигласу фонаря... Еще мгновение, и пилот выбрался наружу. Он был совершенно невредим и, по-видимому, в полном сознании. Вот он спрыгнул с дымящейся машины и шагнул к человеку с топором. Тот всхлипнул и, отбросив топор в сторону, обнял его

* Сокращенный вариант.

разбитыми в кровь руками. Генерал повернулся и побрел к своей автомашине. Штабной офицер догнал его, забежал вперед и, поймав его взгляд, вопросительно поднял брови.

— Вы видели бомбы? — спросил генерал.

— Это потрясающе! Корпуса срезаны как ножом... Даже начинка видна... Пилота приведите ко мне... И того парня с топором. Кстати, кто он?

— Уиффлер, техник из седьмого отряда.

— Как это вышло? — спросил генерал.

Пилот стоял перед ним, широко расставив ноги. Из-за его плеча выглядывал техник с забинтованной головой.

— Я вас спрашиваю, как это вышло? — еще раз повторил генерал. — Вы просто забыли выпустить шасси?

— Просто забыл, генерал, — сказал пилот, не опуская глаз.

— Вы будете освидетельствованы, и дай бог, чтобы вас признали невменяемым.

Пилот засмеялся. Он стоял, все так же расставив ноги, и, широко раскрыв рот, смеялся в лицо генералу.

— Довольно! — попытался оборвать его смех генерал. — Как только вернется ваша эскадрилья, вас будут судить...

Пилот шагнул к столу и четко, будто рапортуя, сказал:

— Эскадрилья уже вернулась, генерал. Это я — эскадрилья. Я один... Вы до сих пор не поняли? Солнце сошло с ума, генерал. Понимаете? На моих глазах — все! Все сразу! Я шел замыкающим, это меня и спасло... Это было не пламя, это был свет. Эскадрильи больше не существует.

Он повернулся спиной к генералу и, коснувшись забинтованной щеки Уиффлера, тихо сказал: «Пойдем...».

Это был старый, очень старый человек. Обезобразившие его лицо шрамы — пять глубоких белесых борозд — постарели вместе с ним.

Генерал пододвинул к нему одну из фотографий.

— Мне посоветовали обратиться к вам. Это самолеты... Вы понимаете?

— Лицо... — сказал вдруг человек со шрамами и близоруко наклонился над фотографиями.

— Да, лицо... Я надеюсь, что вы возьмете это дело на себя. Пилоты отказываются выполнять свои обязанности. Стоимость самолетовылета подскочила вдесятеро.

— Лицо...— вновь повторил его собеседник.

— И это пятно на лбу. Вы обратили внимание? Это не дефект съемки. Темное пятно повторено на всех кадрах.

— Я промахнулся! Старик тогда крикнул, и у меня дрогнула рука... Последнюю фразу человек со шрамами сказал на незнакомом генералу языке.

— Не понимаю,— сказал генерал.— Вы берете этот случай на себя?..

— Беру,— ответил его собеседник и одним движением руки смел фотографии в ящик стола.— Так как сказал ваш пилот? «Солнце сошло с ума?» — Эффект бешеного Солнца,— вот вам, генерал, и наименование операции. Но все пополам, генерал...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот уже вторую неделю стоял в этом экзотическом порту советский сухогруз «Степняк-Кравчинский». Держали неполадки в судовом оборудовании. В пароходстве, поверив великолепным характеристикам, рекомендовали на сухогруз, в качестве радиста научного работника, автора многих исследований в области электроники, которого вдруг, видите ли, «позвало» море. И сейчас капитан ожидал появления этого «каждемика», как его окрестили матросы, с ворохом претензий. А вот и он, ну, конечно, с блокнотом под мышкой и с дымящейся матросской трубкой в зубах.

— Капитан,— закричал «академик», карабкаясь по трапу.— Я, кажется, нашел, черт возьми!

Капитан грустно улыбнулся: каждое утро начиналось с объявления очередной находки в области теории устойчивости колебательных систем, а вчера, кажется, «академик» открыл принципиально новый способ представления фазового пространства.

— Вы понимаете,— заговорил «академик», быстро перелистывая блокнот,— на основании только одного вида нарушений на экране я сделал с виду очень простые, но логически тончайшие предположения о граничных условиях возбуждения жестких колебаний...

Черт, опять эта проклятая трубка.— «Академик» попытался зажечь спичку о подошву своего башмака, но попытка окончилась полной неудачей: стоя на одной ноге, «академик» поскользнулся и, падая, выпустил из рук блокнот. Бесценное собрание высоконаучных выводов очутилось за бортом и после секундного колебания отправилось в темно-бурую глубину залива. Капитан не без злорадства заметил:

— Это символичко... На этот раз вы возьмете в руки паяльник и приступите... Э, да вам повезло!

С легкой лодочки, крутившейся вокруг корабля с самого утра, соскользнуло чье-то гибкое тело. Капитан наклонился и ясно увидел стремительное движение уходящего в глубину пловца. Вскоре тот вынырнул и поплыл к своей лодке, из кормы которой сидел его товарищ, завернутый по плечи в какое-то синее одеяло, наряд в этих широтах не такой уж редкий.

— Эй, кэптен! — закричал ныряльщик, размахивая мокрым блокнотом.

Лодка подошла к трапу, но, к удивлению капитана, на борт поднялся не ныряльщик, а человек в синем.

— Капитан, — крикнул боцман. — Он не отдает бумагу, только говорит, капитану отдам.

Капитан спустился вниз.

— Говорите по-французски, по-английски? — быстро спросил человек в одеяле, прижимая к груди мокрый блокнот.

Настойчивость наджанного гостя нравилась капитану все меньше и меньше, а гость заговорил громко и настойчиво, но с такой быстротой, что капитан повернулся к мостику и крикнул:

— Французский знаете?

— Конечно, что за вопрос! — заторопился «академик», не сразу найдя выход на трап. — Я весь к вашим услугам, капитан.

Говоря эти слова, «академик», спускавшийся по трапу с чисто сухопутной грацией, поскользнулся и очутился на палубе несколько быстрее, чем ожидал. Капитан провел гостя в салон и, оставив его наедине с «академиком», радостно перелистывавшим свой промокший блокнот, распорядился, чтобы кок приготовил кофе. Когда он вернулся, гость что-то оживленно говорил «академику».

— Вы знаете, капитан, этот человек рассказывает очень интересные вещи. Он, оказывается, вот уже три дня пытается найти предлог, чтобы попасть к вам. У него какое-то важное сообщение. Что-то очень-очень важное.

— Но почему он не обратился к нашему консулу? — спросил капитан. Спросите его, спросите.

— Я не мог, не имел права, — сказал человек в одеяле.

— А откуда вы? — спросил капитан. — Вы отлично говорите по-французски...

— Он объяснил, — сказал «академик». — Наш гость учился во Франции, он, кажется, даже бакалавр. — Гость кивнул. — Потом он вернулся к себе. Сейчас он солдат, вы понимаете?

— Не понимаю, — твердо сказал капитан, хотя уже догадался, откуда пришел гость.

— Я оттуда,— сказал гость и показал рукой на один из иллюминаторов по правому борту. Капитан непроизвольно «сориентировался»: там, куда показал худенькой рукой человек в одеяле, был северо-восток. И именно там шла сейчас затяжная война, стоившая многих и многих жертв. Значит, оттуда...

— Пришлось пересечь государственную границу, не так ли? — спросил капитан.

— Два раза,— уточнил охотно гость.

— Дорого бы я дал, чтобы получить полную уверенность в ваших словах,— откровенно сказал капитан.— Что-нибудь вроде документа не помешало бы.

— Паспорт? — переспросил «академика» гость.— Но у нас нет официальных документов. На всякий случай мне дали вот это.

Гость развязал тонкими пальцами узел и освободился от одеяла. На нем была темная куртка, довольно потрепанная, но тщательно выглаженная. Откуда-то из-под воротника он достал тонкий листок рисовой бумаги, на котором было что-то написано, а сбоку приклеена его фотография. Капитан попытался прочесть написанное. Это ему удалось без особого труда: буквы — латинские, но буква «т» преобладала столь значительно над всеми остальными, что он не решился прочесть имя своего гостя вслух.

— Очень хорошая фотография,— сказал капитан.— И я всей душой хотел бы вам поверить, но осторожность, вы понимаете? Вас могли выследить. Вас могут задержать после того, как мы расстанемся. Это все чревато большими последствиями. Наконец, где гарантия, что эта прекрасная фотография выполнена не в разведывательном отделении с целью компрометации советского торгового флота? Смягчите при переводе,— вполголоса добавил он, не глядя на «академика», но гость уловил смысл слов капитана.

— Компрометр? — быстро спросил он.

— Не сердитесь,— сказал капитан.— Но я могу ожидать всего, даже того, что у вас в кармане спрятана граната.

— О, да! — улыбувшись, сказал гость.— Граната. Конечно...

С этими словами гость достал из кармана куртки какой-то длинный цилиндр, снабженный на одном конце блестящей скобой, и бережно положил его на стол. «Академик» едва заметно откинул голову и быстро взглянул на капитана.

— Сейчас, сейчас,— сказал гость.

Он крепко прижал цилиндр к столу и точным движением рассоединил цилиндр на две части, протянув капитану полую металлическую трубку. В правой руке у него осталась самая настоящая граната, которую гость спрятал в карман.

— Вот это я и хотел передать вам,— сказал он, показывая на

цилиндр в руках капитана.— Он запаян, но я рекомендовал бы держать его в прохладном месте.

— А что в нем? — спросил «академик».

— Фотопленка. Только фотопленка,— быстро пояснил гость.— Вы, вероятно, знаете, мы часто сбиваем самолеты. Из ружей, из пулеметов.— Гость двумя руками схватился за рукоятки воображаемого пулемета, и кисти его рук задрожали уверенно и часто.— Но у нас есть потолок. Три, четыре километра — высоты, не достигаемые для нашего оружия. Четырнадцатого ноября над нами пролетел самолет-разведчик. Мы не стреляли. Бесплезно, но он вдруг упал. В его передней части мы нашли оборудование для фотосъемки и в нем непроявленную пленку... При просмотре через проектор мы наблюдали странную картину... Мы не поняли ее, как ни старались. Но для нас многое стало ясным,— гость взволнованно закурил.— Налеты на нас в последнее время стали реже... Вы понимаете?

По утрам мы встречали самолеты вместе с солнцем. Да, вместе с восходом солнца. А теперь — теперь по-другому...

— Если я вас правильно понял, то самолеты не долетают?

— Да, они исчезают в пути... Гость наклонился над столом и едва слышно сказал:— Они всплывают в воздухе... Но мы тут ни при чем. Это происходит не над теми районами, которые мы контролируем. Остальное содержится в этой кассете...

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Начинайте,— сказал голос, и утреннее небо далекой южной страны заполнило экран. Внизу показался часток кол гибких стволов пальм с сорванными листьями, решетчатые клешни радиолокаторов, сеть антенн над низенькими строениями. И сразу же откуда-то снизу вылетела стрела реактивного бомбардировщика и исчезла вдали.

— Пи-175,— определил вполголоса кто-то из сидящих в переднем ряду.— Маневренная машина...

— Вот еще один...

Теперь самолеты взлетали один за другим, а небо ушло куда-то вниз. Исчезли локаторы, пальмы, здания, скользнула назад кромка берега, и океан дугой прочертил горизонт.

— Можно определить высоту,— сказал тот же человек, который назвал тип бомбардировщика.— Что-то вроде... Ого, как идет!

Самолет стремительно поднимался. Вот он пробился сквозь слой легкой облачности, и небо приобрело темно-синий оттенок. Теперь в поле зрения киноаппарата была вся эскадрилья.

- Он идет замыкающим? — голос сзади.
- Да, на расстоянии километров пяти, не больше.
- Снижаются...
- На горизонте материк!
- Резко сбавил скорость... Как ваше мнение?
- Да. Но что это!

Желтый свет залил экран. Он был настолько ослепителен, что комната осветилась. Это длилось секунду, другую. Казалось, глаза успели привыкнуть к свету. Экран вдруг погас, но на нем звездами вспыхнули точки взрывов. И сразу же скользнули вниз — видимо, самолет, с которого велась съемка, стал набирать высоту. Другого объяснения не было: красный диск восходящего солнца появился в углу экрана. Вслед за ним — черта горизонта.

Все сидели молча.

— Мне показалось,— сказал тот же голос, который приказал начинать демонстрацию фильма.— Может быть, мне показалось...

— Да, действительно.

— Я вижу лицо.

— Да, да.

— А сейчас, как на негативе, стоит только закрыть глаза.

— Прокрутить бы еще раз.

— Нет, нужен фильтр. Темный фильтр.

— Попросите киномеханика.

Зажегся свет. В комнате человек семь, в форме и штатском. Тот, кто отдавал распоряжения, в штатском.

И вновь то же небо. Сквозь фильтр оно кажется теперь вечерним. Стремительный взлет самолетов, вот один, второй, третий... Быстрые призрачные тени. И, наконец, ослепительный свет.

— Остановите! — резко выкрикнул руководитель группы.

Изображение застыло. Во весь экран теперь возникло лицо человека, видимое во всех подробностях. Лицо улыбающегося скуластого человека. В его темных волосах застыли сияющие точки: вспыхнувшие самолеты эскадрильи.

— Еще кадр!.. Еще... Стоп!

Лицо на экране дрогнуло. Поползла вверх бровь. И вдруг на лбу, ближе к левому виску, появилось то ли отверстие, то ли пятно. Экран погас.

— Вы заметили пиджак? — спросил кто-то. Самый обыкновенный пиджак, надетый на голое тело.

— Нужно сделать фотографии с каждого кадра.

— Само собой.

— А точка на лбу?

— Может быть, дефект пленки?

— Зажгите свет,— приказал руководитель группы.— Совещание продолжим в моем кабинете.

На стекле, покрывавшем письменный стол, стоял знакомый уже нам оцинкованный цилиндр.

— Прочтите еще раз сопроводительную записку капитана корабля.

Тот, к кому была обращена просьба, достал из папки листок с густо напечатанным текстом.

...«Двадцатого января был вынужден принять на борт посетителя, который вручил мне, для дальнейшей передачи, кассету, содержащую, по его словам, документальный материал»,— читал человек с палкой. Когда он окончил, посыпались восклицания:

— Это началось в ноябре?

— Для нас тут нет ничего нового. Мы знали, что в ноябре была впервые сорвана атака двадцать седьмой эскадрильи.

— Но кто доставил пленку? Что за люди?

— Совершенно необъяснимая история!

— Во всяком случае, это не ракетное оружие...

— Не торопитесь с выводами.

— Показать бы все это Сизову!..

— Руководитель группы взял в руки кассету.

— Ясно одно,— сказал он.— Изображение человека, появившееся в момент уничтожения эскадрильи агрессора,— вот главное содержание присланного нам фильма, вот чего мы не знали. Что же касается всей этой истории в целом, то объяснять необъяснимое — дело для нас привычное. Сейчас нам принесут отпечатанные фотографии. Это первый материал, с которым мы начнем работать. Случай из ряда вон выходящий, но мы знаем, на какой риск пошли те, кто решился доставить нам кассету с фильмом. И ответить на это мы можем только самым пристальным вниманием ко всему, что может помочь анализу событий...

Дверь бесшумно отворилась, и человек в черном халате молча пронес через весь кабинет кипу фотографий. Так же молча разложил их на письменном столе.

— Это все? — спросил руководитель группы.

— Нет, здесь только часть. Завтра выполним другим способом, будут более контрастные.

— Спасибо и на этом,— задумчиво сказал руководитель группы, просматривая фотографии.— А почему по краю каждого кадра идут надписи? — спросил он человека в халате.

— Дело знакомое,— ответил тот.— Это название операции, разумеется, кодовое... «Эс. Джи. Эм.» — видимо, первые буквы какой-то фразы или согласные какого-то слова, известного там, кому

сие вестать надлежит, а дальше номер кадра и еще какие-то номера...

— И все-таки надо показать Сизову,— сказал кто-то из присутствующих.— А вдруг?

Начальник архивного отдела Управления Сизов начал свою службу на одной из далеких погранзастав. Он уже готовился демобилизоваться и отбыть в родное село на Кубани, как неожиданно в нем открылся талант столь удивительный, что начальство предложило ему остаться на сверхсрочной.

Во время самодеятельного спектакля Сизов, раздав в зале подшефной средней школы с десятков томиков Гоголя, не глядя в текст, читал на память любую страницу, которую ему называли. Преподавательница литературы восторженно аплодировала Сизову, а начальник заставы посмеивался в усы, полагая, что тут не обошлось без радиопередачи из другой комнаты. Назавтра он вызвал к себе Сизова, чтобы особо поблагодарить за удачное выступление. К его удивлению, Сизов заявил, что никаких технических приспособлений не было и что он все сам помнит.

С этого дня в жизни Сизова наступила резкая перемена. Ему поручили надзор за безопасностью целого ряда особо важных пунктов. Со скучающим видом он стоял у выхода с перрона, и толпа приезжих такла мимо него нескончаемым потоком. Оперативная группа ограничивалась проверкой документов только у тех из приезжих, на кого незаметно указывал Сизов. Он безошибочно узнавал людей с нездоровым любопытством ко всякого рода объектам военного значения.

Нет ничего удивительного, что с самого начала работы с архивными материалами Сизов указал на целый ряд моментов, связывавших два или три, казалось бы, различных дела в одно. К описываемому нами времени он окончил юридический факультет, но к самостоятельной следовательской работе так и не приступил: новое начальство нашло, что Сизов придает архивному отделу необычайно действенный характер. День за днем он просматривал пыльные папки с делами, и каждая строчка, каждый документ запечатлевались в его необъятной памяти навсегда. Таков был человек, который на следующее утро принялся за просмотр уже известных нам фотографий.

— Мы, конечно, не ждем от вас помощи,— прямо сказал руководитель группы,— но так уж повелось, что без вашего веского слова и начинать непривычно.

— Не ждете помощи? — улыбнулся Сизов.— Почему? Не знаю, откуда у вас эта фотография, но лицо на ней мне знакомо. Дело, правда, очень старое, архивное дело в полном смысле этого слова, я его просматривал пять лет назад.

— Вы не ошибаетесь?

— Нет. Это старое дело... Больше того, фотография прямо взята из того дела. Хотя... у меня нет полной уверенности. Будто бы фон другой? Но вы сами посмотрите.

Через полчаса Сизов принес папку, содержащую материалы двадцатилетней давности. Перебрав десяток фотографий, содержащихся в деле, генерал натолкнулся на фотографию человека с простреленным виском. На обороте значилось: «Горбунов Афанасий Петрович». Это было то же лицо, только с закрытыми глазами. Сизов оказался прав: фон был другой. Фотографии тут же были переданы для сравнения, и к вечеру пришел ответ экспертов, подтвердивший предположение.

Папка, принесенная Сизовым, оказалась только приложением к обширному делу в нескольких томах, часть из которых находилась вне стен Управления, и Сизов обещал доставить их к одиннадцати. В толстой папке было много фотоснимков.

Вот первая фотография, изображающая большую группу офицеров в мундирах царской армии. Подложка твердая, со старинным вензелем на обороте, поверх — писарской вязью — список офицеров. Ряд, место в ряду, воинское звание, фамилия. Двадцать один офицер. По-видимому, штаб. Руководитель группы расследования произвольно пересчитал лица на фотографии, их оказалось двадцать два. Пересчитал еще раз и опять получил то же число. В конверте из черной фотобумаги оказались снимки сгоревшей избы и обширного подвала, во всю длину которого протянулись крылья самолета устаревшей конструкции. И, наконец, целая серия судебно-медицинских фотографий, среди которых был и снимок человека с простреленной головой.

— Так кто же такой Горбунов? — спросил руководитель на очередном совещании группы расследования.— Ничего достоверного, ничего...

— Живы ли участники дела? — спросил один из присутствующих.— Поговорить бы с кем-нибудь из них...

— Кому-то светит длительная командировка,— заметил второй.

— Верно,— согласился руководитель.— Вот вы, Козлов, и отправитесь. Если обнаружите хоть что-нибудь интересное, немедленно сообщите, и мы выедем всей группой. А пока я предлагаю составить полный список всех, кто принимал участие в этих событиях.— Он положил руку на стопку дел.— Фамилию, характер участия и краткую характеристику. И вот еще что...

Напомнили мне эти листки Рубежанск первых послевоенных лет. Особенное было время, трудное время. Только-только отменили карточную систему, волна за волной прошла демобилизация миллионов вчерашних солдат из рядов Советской Армии, и люди страстно, именно страстно, восстанавливали и строили наш мир, нашу советскую жизнь. Но дело не только и не столько в построенных корпусах заводов и институтов. Дело не только в восстановлении материальной стороны мирной жизни. Что всего важней,— кто бы мог ожидать? — именно в те годы зародились и окрепли многие замечательные научные идеи, осуществленные в последующие годы с таким блеском нашими учеными, нашим народом. Мне дороги то время и те годы, как бы трудны они ни были... Может быть, еще и потому, что тогда я был несколько моложе, чем сейчас,— руководитель провел рукой по щетке седых волос.

И вдруг узнаем, что где-то в Рубежанске есть узелок, развязав который, мы, быть может, раскроем всю картину. Может быть, в одном из институтов Рубежанска разрешена какая-то грандиозная задача, причем исследователи сами не знают всех побочных результатов своей работы.

Я не хочу никому из вас навязывать своих догадок. Разбирайтесь сами, товарищи, и изучайте. Часа через два мы сведем все в таблицу, и станет ясно, кого и о чем расспрашивать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В Рубежанске Козлова ждали. Список был уже изучен, и почти против всех фамилий были проставлены крестики синим карандашом да два или три вопросительных знака.

— Иных уж нет, другие странствуют далече,— сказал сотрудник отдела, показывая на синие кресты и красные вопросительные знаки.— В живых и на месте бывший помдиректора по хозяйству Зайцев, но и он на пенсии. Чернышев болеет и только изредка консультирует. Да вот еще Дейнека Юрий Васильевич. Его можно увидеть в любой момент. Завтра и устроим вам встречу.

Институт, в котором работал Юрий Васильевич, располагался за городом. Место было живописное. Вокруг — старый сосновый

лес, недалеко, за крутым обрывом, река, скованная льдом. Машина прошла как раз по краю этого скалистого обрыва и завернула в широкую аллею. В конце аллеи виднелись корпуса научного городка.

Лейтенант позвонил из проходной в отдел кадров, и их тотчас же пропустили.

Главный корпус произвел на Козлова внушительное впечатление обилием света и воздуха, простотой и изяществом мощных железобетонных конструкций. Начальник отдела кадров ожидал у входа и проводил Козлова в свой кабинет.

— Вас интересует Дейнека? — переспросил он Козлова. — Отличный работник, один из наших лучших специалистов. За полтора десятка лет — ни одного конфликта с сотрудниками...

— У нас нет к нему ни малейших претензий, — сказал Козлов. — Мне нужно кое о чем расспросить его, только и всего.

— Ах, так!..

— Не сомневайтесь. Он проходил свидетелем по очень давнему делу, мне кажется, еще до организации вашего института, а вот сейчас создалась необходимость некоторых уточнений. Кстати, в вашем институте, конечно, есть просмотровый зал? Тогда вот что... Я пройду к Дейнеке сам, а вас попрошу организовать закрытый просмотр одной пленки.

— Закрытый для кого?

— Для всех, — сухо сказал Козлов, — кроме Дейнеки.

— Будет сделано.

Я вернусь вместе с Дейнекой минут через тридцать. Пусть ваш киномеханик проверит к этому времени аппаратуру.

— Весь к вашим услугам, — сказал Дейнека, садясь рядом с Козловым.

— Я приехал из Москвы, Юрий Васильевич, по делу, которое вас, вероятно, удивит. Меня просили узнать, что вы помните о некоем Горбунове Афанасии Петровиче... Дело давнее, я понимаю, что вопрос для вас неожиданный.

— Да, давнее, очень давнее. Но меня не удивляет вопрос... Афанасий Петрович был человек особенный. Не скажу, что каждый день, но уж через день я вспоминаю его по самым различным причинам. Я, например, ему многим обязан в своей работе.

В этот момент комнату перерезал широкий цветной спектр. Свет шел от потолка семью яркими полосами. Юрий Васильевич подбежал к двери и крикнул:

— Миша, Славик! Начинайте заветную!

Юрий Васильевич вернулся к своему гостю и, проведя рукой по жиденьким светлым волосам, спросил:

— Так почему же вы заинтересовались Афанасием Петровичем?

Козлов не успел ответить. Дверь широко открылась, и большой стол на роляках медленно въехал в комнату. Он весь был установлен рядами пробирок в пластмассовых штативах. Распорядился всем Миша. Вот от стола протянулись к электрическому щиту провода. Козлов обратил внимание, что стол был установлен поперек цветной полосы и красный свет упал на первый ряд штативов с пробирками.

— Вы обязательно должны присутствовать при эксперименте? — спросил Козлов Юрия Васильевича.

— Не обязательно. Миша, а где Славик? — спросил он неожиданно строгим голосом.

— Его не будет сегодня. Славка занят автоматизацией конвейера штампов.

— Ну, тогда ты сам здесь командуй.

Козлов поднял с пола портфель и вышел на лестницу. По другую сторону площадки располагались лаборатории. Юрий Васильевич попросил обождать и, пройдя мимо него, быстро оделся. Сквозь полуоткрытую дверь Козлов увидел несколько осциллографов и в деревянном станке большую собаку, опутанную сетью проводов.

В главном корпусе все было готово. Козлов усадил Юрия Васильевича в пустом зале, а сам ушел в комнату киномеханика.

— Заправьте эту пленку и будете свободны, — сказал Козлов киномеханику, доставая из портфеля катушку.

Козлов запустил киноаппарат и прильнул к окошку. Мелькнули силуэты самолетов, пальмы, здания. В середине зала одиноко белела голова Юрия Васильевича. Вот пленка окончилась. Козлов торпливо перемотал ее на свою бобину и прошел в зал. Юрий Васильевич неподвижно сидел в темноте.

— Момент взрыва вы видели? — спросил Козлов.

— Да, лицо...

— Это Афанасий Петрович Горбунов?

— Несомненно.

— Я привез фотографии, снятые через фильтр, хотите взглянуть? — спросил Козлов, раскрывая портфель.

— Нет, — быстро сказал Юрий Васильевич. — Не нужно...

— Что вы обо всем этом скажете?

— Я не ожидал...

— Вы догадываетесь, что это за аэродром?

— Да, это Форт-фляй... Атака четырнадцатого ноября.

Козлов почувствовал, что у него задрожали колени, Непроизвольно присел на стул.

— Да, четырнадцатого... откуда вы знаете?

— Теперь знаю.

— И вам все ясно?

— Далеко не все...

— Это вы, Юрий Васильевич? Это вышло из стен вашей лаборатории?

— Да... Но это моя внутренняя уверенность, вот здесь... Юрий Васильевич смутно белевшей рукой показал на свою грудь...

— Меня интересует...— начал было Козлов,— но Юрий Васильевич не ответил. Он сидел перед серым прямоугольником экрана, и картины прошлого одна за другой возникали перед ним с удивительной ясностью. Когда же это началось? Чуть ли не с первых же дней в Рубежанске. Больше двадцати лет назад...

Последуем же за Юрием Васильевичем в то далекое от сегодняшнего дня время. Мы имеем некоторую возможность дополнить его воспоминания теми эпизодами, участником которых он не был. Но таких добавлений будет очень немного. Итак, мы начинаем...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Лишь бы не трупы... Только бы не трупы!— думал

Юрий Васильевич, поднимаясь по крутой каменной лестнице Рубежанского медицинского института.

Вряд ли Козлов узнал бы в этом молодом человеке, почти юноше, того суховатого, осторожного ученого, которого он оставил в кинозале наедине с его воспоминаниями. Широко ступая через ступени лестницы — иной раз через две — Юрий Васильевич уже миновал третий этаж, как вдруг ему навстречу застучала каблуками девушка в белом халате: она несла деревянное блюдо, прикрытое марлей.

— Привет даме в белом! — взмахнул рукой Юрий Васильевич, отступая в сторону, чтобы пропустить девушку. Но она сделала движение в ту же сторону, что и Юрий Васильевич, и он грудью натолкнулся на блюдо в ее руках. Легкий сквознячок приподнял марлю и... Юрию Васильевичу вдруг стало нестерпимо жарко, ком подступил к горлу... Девушка внимательно посмотрела на Юрия Васильевича и испуганно спросила:

— Что с вами?

— Да, так, ничего...— медленно ответил Юрий Васильевич, пропуская девушку, но та остановилась прямо против него.

— Может быть, вам помочь? Да вам плохо! — затараторила девушка, но Юрий Васильевич вдруг бросился вверх по лестнице, пробежал длинный коридор и, взбежав в лабораторию, быстро повернул ключ в замке. Один раз и второй. По другую сторону двери остался мир медицины, осталось это страшное, страшное, страшное блюдо, зиявшее перед его глазами всей полнотой красок: и потрясающей белизной, и нестерпимой желтизной, и бездонной багровостью застывшей крови. Да, на блюде лежал мозг, человеческий мозг, в этом не было сомнения!

А четвертый этаж просыпался. В левом крыле помещалось общежитие студентов, и из туалетной комнаты уже доносилось: «Кони сытые бьют копытами...». А на черной лестнице хлопала чьи-то туфли: шмяк-шмяк-шмяк. Это силач Нападенский выжимал «за локотки» желающих, вместо гири. Загудела дверь кафедры гистологии. «Опять Захар ключ потерял,— догадался Юрий Васильевич.— Все, открыл». Мерный топот донесся в открытую форточку: на работу топали военнопленные японцы. Юрий Васильевич выглянул в окошко, увидел ленту асфальта, густую зелень, красный флаг над зданием обкома и надо всем — темно-синее безоблачное небо.

Столовая помещалась в полуподвальном этаже, но в этот час дня сквозь небольшие окна било такое ослепительное солнце, что Юрий Васильевич невольно зажмурился.

— Прокофий Иванович, получите блюда,— крикнула повариха в замасленном халате. К широкому окошку поспешил человек настолько странный, что Юрий Васильевич, засмотревшись на него, столкнулся со студенткой, несущей полные тарелки горячего супа.

Все столики были заняты, кроме одного, за которым важно восседал похожий на мальчика доцент. Юрий Васильевич его уже знал, то есть знал, что это доцент и заведующий кафедрой, и вежливо ему поклонился.

— Садитесь сюда,— радушно указал доцент на стул.— Вам подадут.

— Я уж сам,— сказал Юрий Васильевич,— меня ведь тут не знают.

— Тоня! — начальственно сказал доцент-мальчик.— Подайте нашему новому ассистенту.

Странный человек, получающий свои «блюда», обернулся на голос и посмотрел на Юрия Васильевича.

Доцент, с видимым огорчением расставшись с подливкой, залпом выпил стакан компота и, взглянув на часы, обронил:

— Спешу на вскрытие. Приятного аппетита.

— И вам также,— невпопад отаеил Юрий Васильевич.

Странный человек приковылял к его столу и со стуком поставил прямо посредине ведро с кашей, потом также ковыляя, вернулся к окошку и принес поднос, весь уставленный тарелками. Тарелок было двенадцать. Человек этот казался горбатым, но он не был горбат; он казался низенького роста, но у него был мощный торс и могучие руки. Большая голова, волосы коротко острижены, не густы, черны, с сединой. Лет ему было никак не меньше пятидесяти. Лицо исполосовано рубцами, а правой ноздри и вовсе нет.

— Новенький? — спросил он Юрия Васильевича.— С кафедры физики.

— Да, с физики... Ассистент,— добавил Юрий Васильевич и поймал себя на том, что звучание этого ученого слова все еще приятно для него.

— И сколько положили?

— Еще точно не знаю,— сказал Юрий Васильевич.

— Косую с четвертаком,— дело известное,— заметил его собеседник. — Северные-то тю-тю, сняли.

— А вы что, ждете кого? — спросил Юрий Васильевич, окинув взглядом дымящиеся тарелки.

— Нет, коротко ответил тот.— Все мое.

Юрий Васильевич принялся за свой суп, а когда поднял глаза, то увидел, что его сосед, вооружась какой-то огромной ложкой, опустошал с невероятной быстротой тарелку за тарелкой. Юрий Васильевич оглянулся, думая, что такое чудо не могло не привлечь всеобщего внимания, но все были заняты своими делами, и Юрий Васильевич догадался: для других это не в новинку. Довел суп из последней тарелки, сосед пододвинул к себе ведро с кашей.

— Верхушечку съем, а остальным поужинаю, будто в раздумье заметил он.

— Это болезнь такая? — спросил Юрий Васильевич осторожно.

— Нет, не без гордости ответил его сосед.— Я — вдок. Слышал, может быть? Посмотрел я на тебя, человек молодой, вот, думаю, может, будет мне напарник, а ты, как курица: три зернышка — и сыта. Вот это мне очень неприятно.

— Я и представить себе не мог, что это все вам,— Юрий Васильевич показал на тарелки.— И все вам одному...

— Э-эх! — выдохнул сосед.— Да разве это еда? Так, подьедочка. Охота начнется, вот тогда еда! Я ведь до сорока уток в день стреляю. Кого хочешь спроси...— И после продолжительного чавканья добавил: — Так ты ко мне заходи, я тут живу, в институте. На втором этаже видел табличку «Мастер точной механики»? Это я и буду, Ганюшкин.

Он протянул свою узловатую руку через стол, и Юрий Васильевич робко ее пожал.

— Тебе без меня все одно не прожить. Я это вижу точно. Идеи-то есть? А?

— Есть,— сказал Юрий Васильевич.— Есть идеи... Вы понимаете, есть данные о том, что человеческий мозг излучает сверхдлинные радиоволны. Это чрезвычайно любопытно, вы представляете? И мне совершенно срочно нужно сделать кагодный осциллограф...

Юрий Васильевич захотел развить свою мысль, но Ганюшкин, не дослушав, заковылял к выходу из столовой.

Юрий Васильевич выловил алюминиевой чайной ложечкой единственную абрикосину, плававшую в компоте, машинально разгрыз косточку и некоторое время сидел с осколками во рту — этого, вероятно, ассистенту, делать не полагалось. Демонстративно достав пачку папирос «Казбек», Юрий Васильевич направился к двери.

— Ассистент Дейнека? — услышал он чей-то голос. Юрий Васильевич обернулся. Перед ним стоял паренек лет двадцати с рыжим пухом на голове. Вытерев рукавом гимнастерки рот, паренек порылся в нагрудном кармане и извлек оттуда пару листков.

— Это вам,— сказал паренек, а это — вашему шефу.

Юрий Васильевич развернул листок. На папиросной бумаге черным по белому значилось нечто удивительное.

— Вы понимаете,— сказал пареньку Юрий Васильевич,— я физик, так сказать... У меня нет частей человеческих трулов.

— А я курьер,— строго сказал паренек,— мне приказали вручить вам ассистентам, и я вручаю. Да, еще вас ждут в партбюро.

В дальнем конце коридора показалась худая фигура в расстегнутом пиджаке и высоких черных валенках.

— Ворона! — где тебя черти носят? — выкрикнула фигура и вновь скрылась.

— Бегу, лечу! — крикнул в ответ курьер и убежал.

Юрий Васильевич приоткрыл дверь кабинета. На фоне окна четко выделялась фигура парторга Петра Ивановича.
— Входи, коротко бросил парторг Юрию Васильевичу.— Давно ждем.

Кроме Петра Ивановича, в комнате находился еще один человек.

— Федор Никанорович,— представился незнакомый.

Юрий Васильевич присел на стул и закурил. Закурил и Федор Никанорович.

— Мы ждали вашего приезда сюда, товарищ Дейнека,— сказал парторг. Очень нам нужен в институте человек, который был бы, так сказать, на «ты» с физикой. У нас десятки проблем ждут вашего слова, вашего вмешательства. Нет ни одной кафедры, не заказавшей какого-нибудь нового физического прибора, вокруг которого уже планируются исследования. А из нас, медиков, редко кто обращался с физическим прибором более сложным, чем электрический чайник. Война позади и, надо думать, наша промышленность скоро наладит выпуск самого современного оборудования. Микробиологи уже ждут электронный микроскоп, кафедра рентгенологии ожидает со дня на день какой-то чудодейственный рентгеновский аппарат, позволяющий получать как бы срезы в тканях, я уж не говорю о кафедре нормальной анатомии, где замахнулись на высшую нервную деятельность во всоружии современных методов исследования.

— Вы меня пугаете...— сказал Юрий Васильевич.— На «ты» с физикой! Шутка сказать... Таких физиков во всем мире раз, два — и обчелся.

— Мы понимаем, что физика весьма обширна. Такое же положение и в медицине...

— И потом, у меня у самого есть идеи,— робко проговорил Юрий Васильевич.— Вы даже не представляете, какое значение для медицины могут иметь инфрарадиоволны, излучаемые человеческим мозгом. Академик Френкель недавно выпустил работу, буквально раскрывающую глаза на возможности биологических объектов. Оказывается, параметрический резонанс объясняет, почему возможен резонанс внутри клетки, он...— Юрий Васильевич еще что-то хотел сказать, но Петр Иванович перебил:

— Никто тебя в монтера или радиотехника превращать не собирается. Идеи твои обсудим, и работай. Посоветоваться даже не с кем, вот что. Твой заведующий кафедрой тоже не физик. Он кандидат наук, но — химик. Вот мы поговорили с Федором Никаноровичем.

норовичем и решили использовать тебя как можно более рационально. Ведь навалятся на тебя со всех сторон...

— Шутка сказать — физик в медицине, — заметил Федор Никанорович, подняв палец вверх.

— Да, без физики никуда, — сказал Петр Иванович, шурша листком бумаги. — Вот посмотри, — Петр Иванович провел листком по стеклу, и листок плотно к нему прилип. — Это что, атмосферное давление или электризация?

— И то и другое, — ответил Юрий Васильевич. — Если быстро его отрывать — давление, если медленно, а листок все-таки прилипает, тогда — электризация.

— Ничего, — сказал Петр Иванович. — Дело у тебя пойдет... Но я на твоём месте обязательно подружился бы с Федором Никаноровичем. Наш, можно сказать, Шерлок Холмс.

— А чем, позвольте спросить, вы занимаетесь, Федор Никанорович?

— Главный судебный эксперт области, — ответил за Федора Никаноровича парторг.

— Судебно-медицинский эксперт, — поправил его Федор Никанорович.

— Нет, — покачал головой Юрий Васильевич. — Это не для меня...

— Вот так-так, почему же? — спросил Федор Никанорович.

— Я трулов боюсь, — сказал Юрий Васильевич. — Даже когда по коридору иду, стараюсь по сторонам не смотреть.

— А что же у нас по сторонам такое страшное? — спросил Петр Иванович.

— Ну, через стекла видно, там, где двери стеклянные. Банки разные, кости.

— Это он про кафедру нормальной анатомии говорит, — догадался Федор Никанорович. — А известно ли вам, Юрий Васильевич, что мы не имеем отсева студентов вот по этой причине? Не имеем. Ну, раз в два-три года, не чаще.

— Привыкают, — согласился Юрий Васильевич.

— Не привыкают, а приучаем, — заметил Петр Иванович. — Вы что думаете, приходит к нам студент, и мы его сразу в анатомический зал? Тогда половина разбежится назавтра же. Мы понемножку. Сперва кости. И долго кости. И говорим ему о том, какую роль играет в кости тот или иной выступ, та или иная впадинка. Потом, месяца через четыре, начинаем понемногу препарировать мышцы, а к февралю и разговорое уже нет, даже наоборот, приходится иногда поправлять за несерьезное отношение к делу.

— Но можно и по-другому, — заметил Федор Никанорович.

— Сразу в воду?

— Вот именно,— подтвердил Федор Никанорович.— Сразу. Вы же мужчина!

— Да, нужно себя проверить,— сказал Юрий Васильевич.

— Вот и отлично. Я над вами возьму шефство. Как будет кое-какое интересное дело, приходите.

Резко застучал звонок.

— Это на совет,— сказал Петр Иванович.— Сегодня Горбунов диссертацию защищает, ты обязательно иди, Юрий Васильевич. Пусть всего не поймешь, но нужно входить в жизнь института. Да и всех увидишь.

— Себя покажете,— добавил Федор Никанорович.

— Что вы? Я буду вам как рыба.

В комнату стали входить незнакомые люди. Сразу стало шумно. Юрий Васильевич вышел из кабинета и остановился возле столика вахтера, разглядывая входящих людей. Ученые советы в мединституте посещали почти все врачи города — были среди них и военные врачи из госпиталей. Одни приходили послушать выступления на совете, другие — посудачить с приятелями или приятельницами. Но все были оживлены, в каком-то приподнятом настроении. Высокий полковник — на погонах чаша со змеей — пронес большой букет цветов. Юрий Васильевич догадался, что букет предназначается диссертанту, и почему-то подумал: а вдруг не получит этот самый Горбунов степени, куда денут букет?

— А вы, дедусь, тут многих знаете? — спросил Юрий Васильевич у вахтера.

— Я-то? А всех,— спокойно ответил вахтер.— Всех преподавателей, всех студентов, всех директоров, какие тут были, уборщицы тоже всех. Я тут, сынок, скоро шестьдесят лет работаю.

— Сколько? — удивился Юрий Васильевич.

— А шестьдесят,— так же спокойно сказал вахтер.

— Так институту-то, кажется, двадцать пять?

— Ну, так что, будто я не знаю, сколько институту! Я все знаю. Все знаю... Гляди, директор! — бросил он Юрию Васильевичу и вытянулся в струнку.

В парадную вошел высокий человек в кожаной куртке на молниях. Его небольшая голова покоилась на мощных плечах атлета.

— Как служба, отец? — спросил директор вахтера.

А тот совершенно преобразился. Грудь колесом, каблуки вместе, носки стоптанных сапог врозь, даже под крючковатым носом дыбом встал реденький прокуренный ус.

— Служу народному здравоохранению! — рявкнул неожиданно громко старик.

— Молодца! — серьезно сказал директор и, коснувшись локтем произвольно вытянувшегося перед ним Юрия Васильевича, прошел мимо, к своему кабинету.

— Наш-то не в духе, — заметил вахтер. — Я все знаю... Тут, если послушать хочешь, в старое время кадетский корпус помещался...

По коридору прошел уже знакомый Юрию Васильевичу человек в валенках, тот самый, что накричал на Ворону.

— Дед, — сказал он сипло, — чтоб был порядок! Ты у меня понял?

— Как асть понял! — бодро ответил вахтер.

Человек в валенках заметил Юрия Васильевича, внимательно на него посмотрел и спросил:

— Студент? Какого курса?

— Я не студент, — ответил Юрий Васильевич.

— А что тут стоишь, женским полом интересуешься?

— Я на кафедре физики работаю.

— Та-та-та, — обрадовался вдруг человек в валенках. — На кафедре физики? Новый ассистент. Как тебя, Декека? Ну да, Декека! Знаю, знаю... — Мягко ступая, он пошел дальше.

— Зайцев это, — доверительно сказал вахтер, — Аполлошка. Ба-альшой человек! Такой сукин сын, что не приведи господь и помилуй.

Он поднял голову и, что-то прошептав про себя, включил звонок. Юрий Васильевич поспешил на второй этаж.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Зал был уже полон.

— Юра! — позвал Дейнеку Захар, ассистент с соседней кафедры, указывая на место рядом с собой. — Иди к нам.. А чего? — продолжал он, когда Юрий Васильевич пробрался к нему на последний ряд. — Нам видно, да нас не видно, можно и почитать и словом перекинуться. Ты как, книжку захватил? Нет. Тогда твое дело табак, придется слушать.

К трибуне просеменил человек небольшого роста и, почти исчезнув за ее краем — Юрию Васильевичу была видна только блестящая лысина рядом со сверкающим графином, — быстро-быстро заговорил, время от времени демонстрируя аудитории документ за документом.

— Мы все, товарищи, знаем Афанасия Петровича. Он, можно сказать, наше детище, воспитанник нашего института. Диссертант представил нам свою биографию, прямую, как стрела, товарищи.

Без всяких, так сказать, ответвлений. Родился он в простой крестьянской семье, в глухом таежном селе, которое даже, говорят, не нанесено на карту. Пятнадцати лет был призван Рубежанским военкоматом, так как произвел впечатление вполне сложившегося юноши. Трижды был ранен. Находясь в 311-м госпитале на излечении, обратил на себя внимание любознательностью и готовностью помогать медперсоналу в его нелегком труде по уходу за ранеными. При непосредственной помощи профессоров нашего института Семенова и Пасхина сдал экстерном за среднюю школу и, я бы сказал, молниеносно закончил Рубежанский мединститут, сдав все положенные экзамены в два с половиной года.

Те из нас, товарищи, кто видели Афанасия Петровича за микроскопом или препарированием, в химической лаборатории или у постели больного, хорошо знают его чрезвычайную, поразительную трудоспособность, его предупредительное, гуманное отношение к больному, его постоянное стремление знать все, что может помочь ему, будущему врачу, спасти человеческую жизнь.

Признаться, многие из нас были разочарованы, когда Афанасий Петрович избрал для научной специализации кафедру нормальной физиологии. Его успехи в общей хирургии заставляли думать, что перед нами будущий хирург. Но представленная работа и отзывы оппонентов говорят о том, что Афанасий Петрович сделал правильный выбор.

Как секретарь ученого совета института могу подтвердить, что документы полностью соответствуют известным положениям министерства, а личность диссертанта по своим деловым и политическим качествам вполне приемлема...— докладчик помолчал и вдруг добавил совсем другим голосом:— Симпатичнейший человек Афанасий Петрович!

Юрий Васильевич толкнул локтем зачитавшегося Захара и спросил:

— Хвалит-то как! Это что, положено?

— Афоня — железный парень, — коротко ответил Захар, пере листывая страницы.

А защита между тем шла своим чередом. Раздвинулся занавес за столом президиума, и все увидели, что прямо на стене развешены многочисленные графики и увеличенные микрофотографии. Диссертанту дали слово, и он, волнуясь и торопясь, заговорил на таком латинизированном языке, с таким обилием медицинских терминов, что Юрий Васильевич слушал, слушал, да и махнул рукой... Но зал, видимо, что-то понял, и все захлопали, когда Афанасий Петрович кончил говорить. После диссертанта выступили оппоненты, каждый из них прочел по листочку-отзыву,

— Все уже? — спросил Юрий Васильевич у Захара.— Идем по домам.

— А голосование? — спросил Захар.— Да и Афоню поздравить нужно. Ты шутишь — степень получить!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В общежитии научных работников, где Юрий Васильевич получил комнату, было уже тихо. Титан еще шумел, и Юрий Васильевич, попивая горячий чаек с кетой, мысленно вновь переживал очередной день в институте. Был этот день удивительно пестрым. «Прожил, будто во сне,— подумал он.— Люди какие бывают разные. Ганюшкин и Горбунов, Зайцев и Ворона... А завтра воскресенье, как хорошо. Можно пойти на Адун покупаться, говорят, вода еще теплая».

Юрий Васильевич допил чай. «Вымыть или не мыть?» — раздумывал он, поворачивая стакан, как вдруг в дверь постучали.

— Кто там? — спросил Юрий Васильевич, подойдя к двери.

— Откройте,— отозвался чей-то знакомый голос.— Свои.

Юрий Васильевич открыл дверь и увидел судебного эксперта, а рядом с ним пожилого милиционера в форме.

— Не спишь? — спросил Федор Никанорович, проходя в комнату.— Это хорошо... Собирайся, пойдешь с нами.

— А куда? Куда так поздно?

— Беда времени не знает,— сказал Федор Никанорович.— Ты ведь сам хотел...

— Что случилось? Я сейчас, сейчас...— Юрий Васильевич топорливо надел пиджак, поискал глазами кепку.

— И случилось, и поможешь мне. Вы познакомьтесь, это мой старый друг. Пострелалов Александр Лаврентьевич. Товарищи, нужно спешить.

Ночь была безлунная. Редкие фонари двумя гирляндами уходили вдаль, к Адуну. Только третий этаж обкома был все еще освещен. Федор Никанорович, постукивая палочкой, шел впереди, будто указывая дорогу. Милиционер, шурша плащом, шел рядом с Юрием Васильевичем, время от времени затягиваясь папироской. Вот и вход в учебный корпус. Федор Никанорович постучал палочкой в дверь, и ее тотчас же распахнули, видимо, их ждали.

— Федор Никанорович пожаловал, значит, будет полный порядок,— радостно заговорил Зайцев, похлопывая неизменным трюхом по колену.

В конце коридора, как раз напротив актового зала, где была защита диссертации, помещалась лаборатория нормальной физиологии. Сквозь щель в двери пробивался свет. Дверь открыл высокий студент в сапогах и белом халате не по росту. Из-за его плеча выглядывал Ворона. В длинной и узкой комнате у окна стоял стол, а на нем лежал какой-то человек, удивительно большой, как показалось Юрию Васильевичу. Голова его была запрокинута, рубаха на груди расстегнута, ноги в стоптанных ботинках повернуты носками внутрь. Он, конечно, был мертв, этот человек... Федор Никанорович приподнял руку, и она со стуком опустилась на стол. Юрий Васильевич попятился к входной двери.

— Чем колод, Писаренко? — спросил у студента Федор Никанорович.

— Кофени, камфору, но все бесполезно, — ответил Писаренко, собирая у стеклянного столика шприц.

— А кто первым вошел? — спросил молчавший до сих пор милиционер, медленно снимая плащ.

— Это ему наш Ворона смерть констатировал, — сказал Зайцев. Ворона молча кивнул головой.

— Так как, Ворона, было дело? — спросил у него Пострепалов и достал планшетку.

— Я тут гулял по коридору, — неуверенно начал Ворона. Но Зайцев его перебил:

— Нюшке мешал зал убирать. Я на этот счет строг, а тут просмотрел.

— Ну, я к двери подошел, — продолжал Ворона, — и слышу: «Ж-ж-ж-ж». Попробовал дверь, а она на запоре. Тут я запах учуял. К Зайцеву в кабинет, а у него как раз суббота, тогда — за комендантом. Открыл комнату, а он уже все. И подойти страшно, потому что крючок от тросика у него за воротник зацеплен и искры сыплются, ж-ж-ж... Синенькие, маленькие. Тогда комендант свет вырубил, а я крючок снял и стал дыхание делать.

— Товарищ Ворона, — спросил Федор Никанорович. — Какой тросик был снят?

Ворона подбежал к аппарату и показал на укрепленную наверху трубку. К ней через блоки подходили тросики, по которым поступало высокое напряжение.

— Высоко, — сказал Федор Никанорович.

— А я стул взял и зацепил, — сказал Ворона.

— А ну, снимите.

Пострепалов, заполнявший листок дознания, поднял голову:

— Напряжение тут какое было?

— Тут до семидесяти тысяч вольт, — сказал Юрий Васильевич.

— Значит, он умер сразу же,— спросил Федор Никанорович.

— Наверное. Это как молния.

— Закопать его надо в землю! — горячо зашептал Ворфье Зайцев.

— Темный человек,— сказал ему Ворона.

— Точно я говорю, в землю. А то в это... в как его?

Юрий Васильевич прислушался к спору и вдруг узнал человека на столе: то был Афанасий Петрович.

— Это Горбунов? — пораженно спросил он и с хрипом втянул в себя воздух.

— Да,— коротко ответил Федор Никанорович,— Горбунов.

— Это он только что защищал, каких-нибудь несколько часов?..

— Он, он.

Федор Никанорович подошел к столу и долго смотрел на запрокинутую голову. Потом взялся двумя руками за ворот рубахи и с треском разорвал ее до конца. Была в этом движении досада, что вот так непонятно, вдруг, ушел из жизни человек, а жест сам по себе был обидно обиденный: хозяйки так рвут на тряпки старое белье...

— Пиши,— куда-то в пространство сказал Федор Никанорович, и Пострепалов торопливо достал новый листок бумаги.— Пятого сентября сего года в помещении Рубежанского медицинского института в три часа ночи,— медленно диктовал Федор Никанорович,— мной, главным судебным экспертом области, произведено судебно-медицинское исследование трупа гражданина Горбунова Афанасия Петровича, двадцати четырех лет. Исследование произведено в присутствии представителя горотдела милиции А. Л. Пострепалова и понятых... Запиши товарищей, потом подпишутся. Да оставь место для предварительных сведений. Так. Теперь наружный осмотр. Исследование проводилось на месте происшествия, поэтому труп в одежде. Одежда целая, чистая. Ворот гиджака и рубаха со стороны затылка обожжены и прорваны. Окоченение ясно выражено во всех группах мышц. Роговицы глаз прозрачны... В правом кармане, в правом кармане...

Федор Никанорович достал сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его.

— Это по твоей части,— сказал он Пострепалову.

— Неужели записка? — спросил тот.

— Да, «прошу в смерти моей никого не винить»...

Федор Никанорович передал листок Пострепалову.

— Текст машинописный, — сказал он с каким-то облегчением.

И подпись на машинке,

— А вскрывать мы его сейчас не будем,— неожиданно сказал Федор Никанорович.— Вечером...— и, обращаясь к одному Пострепалову: — Не могу...

Все вышли из лаборатории и стояли молча, глядя, как Пострепалов опечатывает дверь. Так же молча спустились вниз по лестнице. «Только не трупы... Только бы не трупы» — мысленно повторил Юрий Васильевич свою ежедневную мысль и конял, что сегодня он перешагнул какой-то рубеж.

На улице Федор Никанорович повернул налево, к Адуну, Юрий Васильевич поплелся за ним следом. Уже занималось утро следующего дня.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Федор Никанорович и Юрий Васильевич пересекли площадь имени Волочаевских дней и уже подходили к лестнице, спускающейся к Адуну, как вдруг показалась странная процессия. Это был взвод моряков-пограничников во главе с офицером, плотно окруживших скрюченного, тяжело ступающего человека, в котором Юрий Васильевич сразу же узнал мастера Ганюшкина. Один из моряков тянул на тросе складную алюминиевую лодку. Когда процессия поравнялась с ними, Федор Никанорович спросил:

— Что, с охоты, Прокофий Иванович?

— Не с охоты, а на охоту. Ружья сзади несут,— ответил Ганюшкин.

То, что произошло затем, оказалось совсем уж неожиданным. Офицер сделал быстрое движение рукой, будто пытался схватить кого-то невидимого за шею, и два моряка тут же оказались за спиной Юрия Васильевича и Федора Никаноровича.

— Позвольте,— сказал судебный эксперт,— тут какая-то ошибка.

— А-атставить разговорчики,— приказал ему офицер и, обращаясь к сутуловатому старшине, коротко бросил:— Ашмарин, обыскать!

Юрий Васильевич почувствовал, как чьи-то, даже через одежду шершавые ладони скользнули по его бокам, ногам, крепко постучали по груди. Потом та же операция была проведена с улыбающимся Федором Никаноровичем.

— Вы ошиблись, товарищ лейтенант,— сказал Федор Никанорович, но тут старшина излек из заднего кармана его брюк небольшой черный пистолет и протянул его лейтенанту.

— Ага! — сказал лейтенант, — отставить улыбочки!

От подъезда старинного кирпичного здания отошла грузовая машина защитного цвета и, развернувшись, остановилась перед лейтенантом. В кузове машины стоял фанерный ящик, в каких обычно развозят хлеб.

— А ну давай, ребята, поможем, — сказал лейтенант, и Юрий Васильевич вдруг почувствовал, что его заталкивают в узкую дверку головой вперед. За ним последовали Ганюшкин и Федор Никанорович. Три или четыре моряка уселись на лавочку против них, и машина тронулась.

— Слушай, Ганюшкин, — начал было Федор Никанорович, но знакомый уже нам старшина строго сказал:

— Разговорчики! — и шевельнул автоматом.

— Нет, это просто смешно, запихали в какой-то ящик, — опять начал было Федор Никанорович, подпрыгнув на сиденье, так как машина пошла по булыжной мостовой.

— Ты что, слов не понимаешь, — вновь оборвал старшина. Какие сами, такие и сани. Мало я вас перевозил.

Грузовик остановился в совершенно незнакомом районе, где-то за городом.

Юрий Васильевич оглянулся и увидел, что грузовик стоит против четырехэтажного дома, над одним из подъездов которого укреплена стеклянная доска с какой-то надписью, а сверху ясно видна пятиконечная звезда.

— Пошли, — сказал лейтенант, и вся группа вошла в подъезд дома. Они прошли по коридору, и Юрий Васильевич заметил табличку: «Красный уголок». Потом их ввели в просторную комнату, и сразу же захотелось выпить стакан холодной воды, хотя бы такой, какая была налита в графин перед дежурным офицером, сидевшим за перегородкой. Юрий Васильевич оглянулся на Федора Никаноровича и увидел, что его глаза под припухшими от бессонной ночи веками чему-то улыбаются. «Нашел время радоваться! — раздраженно подумал Дейнека. — Влипли в какую-то некрасивую историю». Он вновь с жадностью взглянул на то место, где стоял графин, с водой, но его на месте не оказалось: Ганюшкин, протянув руку, схватил за горлышко, и вода, брызгаясь и булькая, исчезала в его глотке.

— Нужно разрешение спрашивать, гражданин! — строго сказал дежурный офицер и схватил Ганюшкина за руку с графином. Но тот почему-то весь напрягся и насупился, а вода все булькала, пока не вылилась без остатка. Ганюшкин медленно поставил графин на место, а дежурный уважительно на него посмотрел:

— Силен, — сказал он. — Но нужно спрашивать разрешение.

— Кур-пур? — спросил его Ганюшкин. — На кой мур?
Дежурный офицер вытаращил глаза. Юрий Васильевич улыбнулся: он хорошо знал, что первая встреча с Ганюшкиным хоть кого приведет в удивление.

— Май пудл лайт, он дык-и-зол, — быстро произнес Ганюшкин.

— Вы что, иностранец? — спросил дежурный офицер.

— Из, сер, — сказал Ганюшкин.

— Да, да, он иностранец. — Раздался из-за спины голос того лейтенанта, который их привез на грузовике. Лейтенант появился откуда-то из боковой двери, и тотчас же за ним послышались грузные шаги. Майор в форме погранвойск быстро подошел к дежурному, мельком взглянул на задержанных и расхохотался:

— Ты опять штучки выкидываешь, Ганюшкин?

— Вы его знаете? — спросил лейтенант. — Он же...

— Докладывайте, докладывайте, что остановились? — сказал майор. — Батюшки, да никак вы и Чернышова задержали. Федор Никанорович, — развел руками майор, — ты уж прости нашего путушка...

— Разрешите обратиться, товарищ майор, — настойчиво заговорил лейтенант. — Отобрано оружие. Иностранной марки. Да-да, вот у этого вашего знакомого.

— Верни оружие, верни, — сказал с ленцой майор и, сев на стул, с которого при его появлении встал дежурный офицер, знаком показал, что нужно усадить задержанных. Стулья появились тотчас же.

— Ну, докладывай теперь, лейтенант. Где вы этого фокусника отыскали?

— Задержали у пятого быка северной стороны в ноль часов тридцать четыре минуты. Пристал прямо к быку, привязал к скобе лить и не отвечал на окрики патруля. Демонстративно удил рыбу. На ломаном русском языке заявил, что он гражданин Сан-Франциско и может ловить рыбу, где ему заблагорассудится. Лодку взяли на буксир и доставили в порт.

— Лодку отберем, — твердо сказал майор. — Дальше.

— Во время конвоирования эти два гражданина что-то ему закричали, на что он ответил им какой-то путаной фразой. Я и решил задержать.

— Дело серьезней, чем я предполагал, — строго сказал майор. — Удить рыбу нахально у стратегического моста, да еще привязывать лодку к скобе быка запрещено. Вам это известно, гражданин из Сан-Франциско?.. Ну и как, клевало?

— В лодке есть рыба, — сказал лейтенант.

— Что ж молчишь? — спросил Ганюшкина майор.

— Май пудл лайт, он дык-и-зол,—выпалил Ганюшкин свою «английскую» фразу. И вдруг жалобно добавил совсем другим тоном:— Ну, вы ж меня знаете, Александр Степанович. Ведь питанья не та. Я ж после обеда только и думаю, где бы пошамать по-человечески.

— Ах, «питанья» не та? — грозно спросил майор. — Товарищ дежурный, отведите его к оружейникам, пусть осмотрит. Ну, оружейники знают. И пока не закончит, не кормить. Я тут посижу с товарищами...

— Эксплуататоры! — громко ворчал Ганюшкин, ковыляя к двери за дежурным.— Мало я на вас поработал, мало?

— Понимаю,— сказал лейтенант.— Понимаю...— добавил он, хотя по его лицу было ясно, что он ничего не понимает.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Юрий Васильевич потом не мог припомнить, как очутился дома. Проснулся он на своей койке, когда за дверью было уже темно. С пыхтеньем прошёл мимо окон общежития громадный красный автобус иностранной марки. По коридору мимо двери его комнаты быстро протопали детские ножки, и звонок: «А я хочу гулять!».

Да, но ведь завтра с утра будет лекция, и нужно подготовить целый ряд демонстрационных опытов!

Здание института в этот поздний час выглядело довольно мрачно. Только подъезд был ярко освещён да на четвертом этаже светились окна в комнатах мужского общежития. По своему недавнему студенческому опыту Юрий Васильевич знал, что там сидят только дежурные из числа самых завзятых зубрил, а все остальные разбрелись по городу в поисках нехитрых развлечений. Вместо старика-вахтера у столика сидел одноногий инвалид и смоллил гигантскую самокрутку. Ключа Юрию Васильевичу он не дал, сказав:

— А что, может быть, и ассистент, а не дам. Ступай к Аполлону Митрофановичу, он сейчас на втором этаже, у Ганюшкина.

Юрий Васильевич не стал спорить и, быстро взбежав по лестнице на второй этаж, постучался в дверь с надписью «Мастер точной механики». За дверью послышался шум, звон стекла, потом знакомый голос спросил:

— Кого это черти носят?

— Аполлон Митрофанович,— громко заговорил Юрий Васильевич.— Мне ключ не дают, говорят, пусть Зайцев разрешит, а мне нужно готовить демонстрации к завтрашней лекции...

— Ну, чего тараторишь, ну чего? — прервал его Зайцев, и в комнате снова что-то звякнуло. — Тебя спрашивают, кто ты есть? И больше ничего от тебя не требуется.

А кто-то, кажется, Ганюшкин, добзвил: «Можно открывать, Митрофаныч».

Дверь приоткрылась, и в коридор выглянул Зайцев. Редкие космы его прилипли к потному лбу, он что-то жевал, и губы его лоснились.

— Де-ке-ке-ке! — воскликнул он, узнав Юрия Васильевича. — Вот не ждали, не гадали! Гость-то какой дорогой, батюшка мой! А у нас тут посиделки, воскресные посиделки, коллоквиум... — Аполлон Митрофанович помолчал, весь изготоваясь к какому-то важному слову, и вдруг выпалил: — «Коллоквиум!» — и быстро втащил Юрия Васильевича в комнату, в которой за большим дубовым столом сидели уже знакомые ему лица. Как только Юрий Васильевич вошел в комнату, стол немедленно стал покрываться тарелками со снедью и какими-то бутылочками с синей жидкостью, в которой Дейнека с содроганием опознал денатурат.

— Вот напугал, — сказал Юрию Васильевичу Ганюшкин, разливая синюю жидкость по стаканам. — А мы-то думали, директор.

— Аполлон Митрофанович, поймите, мне ведь нужно приготовить демонстрации к завтрашней лекции, мне работать...

— Ах, ему работать нужно? — закивал Аполлон Митрофанович. — А мне что? Нам завтра не вкалывать? Мы что, не рабочий класс? Прокофий Иванович, — обратился он к Ганюшкину. — Покажи ему свою рабочую руку.

Прокофий Иванович, сидевший до сих пор молча на потрепанном кожаном диване, запустил куда-то за валик руку и медленно вынес ее перед собой. На его руке, зацепившись за крючковатый мизинец, висела громадная гиря. Насладившись произведенным впечатлением, Ганюшкин так же молча отправил гирю на место.

— Два пуда, наверно? — спросил пораженный Юрий Васильевич.

— Нет, — сказал Ганюшкин, — больше... Сорок кило.

— Работа! — опять воскликнул Зайцев. — Да мы твою работу в момент сделаем. А что? Отвалимся от стола, и все по местам! Последний парад наступает! Ты нами командуй, а мы тебе враз все сделаем в наилучшем виде. Как, Прокофий Иванович, поможем молодому товарищу?

— Само собой, — ответил Ганюшкин простуженным голосом. — Вот только пусть покажет, что нас за людей считает...

И Юрию Васильевичу пришлось выпить...

— Ух,— выдохнул Юрий Васильевич.

Общество было удовлетворено.

— Закусывай, закусывай,— говорил Прокофий Иванович, подкладывая на тарелку куски розовой ароматной рыбы.— Сами ловили, сами готовили, никому не кланялись, денег не платили. Если бы не помешали, то и икорки свеженькой насолили бы.

— Вы знаете, товарищи,— неожиданно для самого себя сказал Юрий Васильевич,— у меня грандиозные планы. Человеческий мозг, несомненно, излучает инфрарадиоволны, и как это до сих пор никто не додумался? Вот я и решил сделать такой аппарат...

Юрий Васильевич некоторое время излагал суть обуревавших его идей, но, машинально отправив в рот изрядный кусок рыбы, смущенно замолк. За столом нашелся, однако, человек, прекрасно его понявший.

Зайцев достал из внутреннего кармана пиджака какой-то бланк и положил его на стол.

— Прочти, ассистент,— предложил он Юрию Васильевичу.

— Электроэнцефалограф,— прочел Юрий Васильевич надпись, сделанную чернильным карандашом в черной рамочке бланка.

За столом пераглянулись.

— Так для чего ж зверь такой? — с опаской, как показалось Юрию Васильевичу, спросил его Зайцев, но Ворона поспешил щегольнуть эрудицией:

— Электро — это электро, энцефалон — мозг головной, а графо — пишу... О чем подумал, то мы электрическим способом и запишем. Ворона нехорошо захохотал, а по выжидательной тишине за столом Юрий Васильевич понял, что разговоры об этом приборе велись в этой компании не раз.

— Товарищ Ворона совершенно правильно объяснил,— сказал Юрий Васильевич.— Электроэнцефалограф — это прибор для записи токов мозга. Очень точный и дорогой прибор.

— Еще бы не дорогой! — прервал Зайцев.— Семьдесят пять тысяч!

— Но мысль он не записывает. Это я могу вам сказать совершенно точно. Вернее, записывает, но...

— Да ты не крути,— сказал Зайцев.— То записывает, то не записывает.

— Он записывает, это верно, но прочесть эту запись нельзя. Она в виде таких кривых, очень сложных...

— Ну, так бы и сказал,— удовлетворенно выдохнул Зайцев.— А то: мысли записывает! Даже сердце петухом запело. Выходит, и еще семьдесят пять тыщ фьють?

— Нет, почему «фьють»? Это удивительно интересное дело.

Я перед отъездом из Москвы видел в одном научном журнале ряд кривых, снятых с мозга человека. Вы представляете, человеку предложили задачу, ну, скажем, умножить двадцать пять на семьдесят восемь, и вот на кривой сразу же пошли пики.

— Заработала машина, значит, — подмигнул Зайцев.

— Да, а потом музыканта попросили вспомнить музыку, и по графику пошли явно ритмические всплески, — Юрий Васильевич сделал волнообразное движение рукой в воздухе: — Вы понимаете? Будто написано та-та-там, там-та-ра-там... А потом одна женщина вспомнила, по просьбе экспериментатора, обстоятельства гибели ее дочери во время пожара, и тут же — сплошной частокол, вот смотришь на такой график, и действительно — пожар и смерть.

— Взволновалась старушка, стало быть, — заметил Ганюшкин.

— Ну, еще бы, вы представляете, что в мозгу делается, когда человек вспоминает такое?

— То-то и оно, — сказал Зайцев. — Тут-то вся и вредность... Человек хитер. Иной и не грамотен, а памятлива, пас. Будто ничего и не помнит, а как нажмут, так самого Мамаю вспомнит и всю кротость его, не там будь помянут. Это у курицы памяти нет. Так у нее память курячая.

— Это у кукушки памяти нет, — сказал вдруг старик-вахтер, о котором все за столом забыли. — Вот она, пестрянская, и летает весь век с дерева на дерево, детिशков своих ищет. А курица все помнит, все помнит.

— Да я не к тому, Карпыч, — с сердцем прервал его Аполлон Митрофанович. — Проснулся ты, брат, поздно. Мы тут про такое говорим...

— Понимаю, понимаю, — вновь заговорил старик. — Я вашу братию всю понимаю. Всего видел. И не доешь и не доспишь, а за всегда перед начальством виноват. Это сейчас каждый с уважением, потому власть рабочая, а меня ведь и бивали. Старик замолчал, привычным движением щипнул прокуранный ус и веско добавил: «Кровью умывался».

— Вон как, — сказал Зайцев строго, поймав взгляд Юрия Васильевича. — Мафусаилов век, можно сказать, старик наш прожил, а помнит. Вот оно что страшно... Смакаешь? Приложат к его лбу аппарат электрический, а все наружу, всю можно сказать, подноготную...

— Ах, вот вы чего боитесь, — рассмеялся Юрий Васильевич. — Ну, до этого еще далеко. Ученых совсем не это интересует.

— А деньги им кто дает? — строго продолжал Зайцев. — Вона, семьдесят пять косых не пожалели. Значит, в корень смотрят. Ждут. А потом: пожалте, Аполлон Митрофанович, бриться, пони-

мать надо! Это же у человека ничего своего не остается. Под черепушку заглядывают, а?— Аполлон Митрофанович обаял присутствующих трезвым и серьезным взглядом.— А то,— продолжал он, понизив голос,— ясновидцы безо всякого аппарата работают. У нас тут, неподалеку, на Княжей Заводе, домик имеется, так дачник один туда приехал. Такой старичок при галстучке, удочкой баловался. На скамеечке перед окошком все сидел, на солнышко любовался. «Ах, какие у вас закаты! Ах, все розовое! Ах, все красное!» Морда хитрая.— Зайцев прищурил глаза, стараясь показать собравшимся, какой именно хитрости была физиономия у дачника.— Приятель мой все мимо домика ходил по крестьянскому делу, то коровушку гнал с поля, то по воду, а он, этот-то, смотрит... Ты понимаешь, ассистент, смотрит! Ну, приятель-то мой и спрашивает: «Чего ты, дорогой товарищ, глаза-то пялишь?» — А он ему: «А я с вами и говорить не хочу».

Ворона было хотел разъяснить по-своему ситуацию с дачником, но Зайцев замахал на него рукой и значительно повторил:

— И говорить не хочу!... А он, приятель-то мой, и спрашивает: «А почему вы со мной говорить не хотите?» А он: «Потому, что у вас нехорошие мысли!» И так голову опустил, а приятеля даже пот прошиб. Как, говорит, взглянул я на его голову, а она... пуда на два! Тяжелая, тяжелая и вся как есть лысая. А потом приезжает за этим дачником, кто бы вы думали?

— Змей Горыныч,—сделал предположение Ганюшкин.

— Хуже! Чернышов собственной персоной. И увез. На машине. А мы-то знаем, кто такой Федор Никанорович. И еще говорят, что этот старичок в самой Москве прямо со сцены мысли угадывает. Вот так посмотрит на людей, а их там тыщи, и сразу скажет, кто о чем думает.

— Послушайте, я знаю, о ком вы говорите,— рассмеялся Юрий Васильевич.— Только не знал, что он у вас тут отдыхал. Это известный артист. У него повышенная чувствительность, но, конечно, не до таких же пределов... Тут все ясно, почти все, нам объясняли...

— Вот оно,— торжествующе сказал Зайцев.— Почти все, почти. Вот она где, печать премудрости Соломоновой! А мы по простоте так думаем: недаром Федор Никанорович за ним на машине приезжал, ох, недаром. Мы знаем, чем Федор Никанорович занимается, какими такими делами...

— А ты, Аполлошка, Федора Никаноровича не замай,— прервал его вдруг старик-вахтер и даже погучал тихонько кулачком об стол.— Это мой крестник, Федор Никанорович.

— Тоже родственничек объявился,— вскользь заметил Ганюш-

кин.— Кто же его трогает, Карпыч? Знаем мы просто, что Федору Никаноровичу человека поймать, что комару крови испить.

— Не туда гнешь, Прокофий Иванович,— не унимался Карпыч.— Он убийцев разных разыскивает, душегубов. А рабочему человеку он всегда руку протянет. Потому нашенький он, свой. Не замай Федора Никаноровича, Аполлоша.— И старик забарабанил кулачком по столу.

— Пить тебе, Карпыч, уже кончать надо,— заметил Зайцев.— Возраст не тот, вот и забирает.

— Да я еще тебя схороню! Видал я гусаров на своем веку. И царской службы и белой. Унтаром был, перед самой японской лейб-гвардейского его величества...

— Завел, завел...

— А как по ранению сюда вернулся, так и в кашу попал, ну, каша была... Калныкова видал, вот как тебя, Аполлошка. Да японцев, да атаманов разных — не счесть! Закрою глаза, полки перед глазами так и идут, так и идут. Мериканцы были, англичане, вот в ту пору и Федора Никаноровича встрет. Ох, молодой он был — черт, ох и черт. Не зам, пьяницам, чета!

— Ну, поехал Карпыч в Крым по келусту! — прервал старика Зайцев.— Мы и говорим черт, чего тебе надо еще.

— А когда его калныковцы расстреляли... Зверье проклятов.— Старик замолчал и стал торопливо скручивать папироску, но пальцы его не слушались. Юрий Васильевич раскрыл пачку папирос и протянул через стол.

— Не надо! — резко отвел пачку Карпыч.— Благодарствуйте... Утром ко мне заявился,— затянувшись махоркой, сказал старик.— Под самое утро. Я только корма задавать коням поднялся. Под самое утро. Тихо так постучал. Ну, у меня сразу мороз по коже. Уноси кузовок, думаю, Карпыч, по твою душу... «Кто такой?» — спрашиваю, а сам трясусь. «Карпыч,— тихо так за дверью,— один ты?» Ну, открыл. И узнаю, и не узнаю. Стоит человек в одном исподнем, с головы до ног в крови, босиком. А морозы уже и снежок был. «Кто такой?» — спрашиваю, а у самого язык не поворачивается. А он руки протянул и пошел к печке, а сам дрожит весь... Я — дверь на замок, обмыл его, а на нем хоть бы царапина! Вся кровь чужая... «Чья ж,— говорю,— кровь?» «Девятнадцать нас калныковцы порешили,— объясняет и опять дрожит весь.— Шафаров, да Кочетков Алексей, да Хабаров Андрей, Панкратов Пантелей да...»

— Да Данилушка кривой, да Лазарь одноглазый, да Никита с желваком,— вполголоса сказал Ганюшкин, но Карпыч расслышал

и сразу же замолчал, а потом как-то странно посмотрел в лицо Ганюшкину.

— Ну, что уставился, будто мы этих знаем? — прервал молчание Ганюшкин.

— Закаляев Ильяха, Бородин Дмитрий,— перечислял Карпыч, не спуская глаз с Ганюшкина, и случилось странное: перестал Ганюшкин работать челюстями, так и сидел с полным ртом.— Как не знать? — продолжал старик. — Советскую власть самые первые у нас ставили. А караульные кто, спрашиваю. Сказал и караульных. Ротмистр командовал, тоже из наших, из забайкальских, да поручик Крестовоздвиженский. Ну, и из личной охраны самого, китайцы... Они же, кто из бедноты, в партизаны пошли, а кто из купцов да из золотишников побогаче, до Калныкова подались. Тоже зверье было...

— А как же он-то спасся? — спросил Зайцев.

— А ты у него спроси, у Федора Никаноровича,— сказал старик.

— Ну, я за матлу, снег весь смел, чтобы следу не было, и к жене Шафарова, к комиссарше, значит. Так и так, говорю, ночью идите на кладбище, к Гамлету, там с вами один человек разговор будет иметь... Весь день проспал Федор Никанорович, а ночью и пошел, я ему весь мундир атаманский раздобыл. И пошел. Ох и черт был... старик задумался.

— Выходит, ты, Карпыч, сам-то у Калныкова был? — спросил осторожно Ганюшкин, но старик ему не ответил.

— Я тебя спрашиваю, ты-то сам... — начал было опять Ганюшкин, но на этот раз старик перебил его.

— Сам-то, сам-то. А ты сам-то? Не по своей воле, конечно. Мы справлялись, какое такое мнение будет. Сказали идти, мы и пошли. А как же?

— Значит, его благородие господин атаман приказал...

— Да не его благородие, понимать надо,— вновь перебил Ганюшкина старик.— Комитет. Чтоб это самое, изнутри его, гада, пощупать. Так-то, Прокофий Иванович. Да ты и сам не маленький в ту пору был, должен помнить...

— Люди, какие люди! — воскликнул Ворона, обращаясь к Юрию Васильевичу.— Вы вдумайтесь, какие люди! Это же просто невозможно, какие люди! Один, заметьте, Юрий Васильевич, простой вахтер, а за ним — жизни! Ого-го, какая жизни! Он вам поутру ключик вручает, и вы ему не всегда спасибо скажете, а ведь это он, он... Нет, не могу... Это же — он! — и Ворона неожиданно пропал своим приятным тенорком:— И на Тихом океане свой закончили па-ход...

— А ведь удивил старик,— заметил Аполлон Митрофанович.— Я, брат, тебя тютей считал. То-то с тобой наш директор язык почесать любит. Живая, можно сказать, история...

— Какая там история. Трещите вы все, как эти,— Карпыч лукаво мигнул в сторону Вороны,— ну эти, сороки.

Зайцев коротко хохотнул.

— Это он тебя, Ворона, поддел.

Ворона некоторое время размышлял, обидеться ему или нет, как вдруг в дверь сильно постучали и чей-то сильный голос звучно пропел:

— Эй, вы, звери, отворите, караульщики впустите!

— Сломоухов никак! — обрадованно сказал Ганюшкин.— Ну, будет дело! Ты бы, Аполлон Митрофанович, за подкрепленьем сбегал.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Дверь торопливо отворили, и в комнату шумно вошел человек весьма примечательной наружности. Был он еще не стар, но с бородой поразительной величины, иссиня-черные волосы сплелись в тугих кольцах. Ястребиный нос вошедшего оканчивался чем-то, напоминающим небольшую сливу, отчего на первый взгляд хищное выражение лица несколько смягчилось. Под густыми бровями сверкали глаза, но это были не глаза, нет, это были раскаленные угли, даже не угли, а нечто феноменальное по своей выразительности. На ногах его были охотничьи сапоги внушительного размера, поэтому человек смахивал не кот в сапогах, как его рисуют в детских книжках. Могучую грудь обтягивала выдавшая виды кожаная куртка, от которой исходил самый неподдельный запах леса, запах хвои и костра, и еще чего-то совершенно уже таежного. На голове возвышалась фетровая шляпа, обитая mosquito сеткой наподобие чалмы поверх папахи, как во времена Шамиля было принято у его мюридов. В руках Сломоухов держал громадный рюкзак и большой мешок, а за плечами прикладами вверх торчали два великолепных ружья. Одно охотничье, двуствольное, а второе — невиданных ранее Юрием Васильевичем размеров — вертикалка.

Вокруг Сломоухова образовался настоящий хоровод. Так встречаются студенты своего товарища, который устроился на работу в колбасный цех мясокомбината. Не было недостатка ни в восторгах, ни в знаках неподдельного радушия, ни в предвкушении чего-то необычайного. Юрий Васильевич, все еще несколько более оживлен-

ный, чем ему хотелось бы, также был подхвачен этим хороводом и бесцельно забегал по мастерской.

Сломоухова усадили на кожаный диван, и Прокофий Иванович собственноручно стянул с него сапоги: операция, доставившая гостю необыкновенное наслаждение. Аполлон Митрофанович снял с него ружья и куртку, Ворона сломя голову бросился с эмальрованным тазом в коридор и тут же вернулся, расплескивая воду.

Старик Карпыч без всякого стеснения рылся в рюкзаке, время от времени извлекая из него самые разнообразные вещи: компас, шило, какие-то ножички, бесчисленные коробки, узел с грязным бельем, бутылки и бутылочки, костяные вещички, покрытые тонкими рисунками, и опять бутылочки, и опять ножички. Зайцев передал Юрию Васильевичу тяжелый пояс-патронташ с пустыми патронами и охотничьим ножом.

Это было невероятно, это были Майн Рид и Фенимор Купер, это были Хабаров и капитан Кух — и все в одном существе по имени Сломоухов. В данный момент существо это сидело на диване и внимательно рассматривало грязную воду в тазу, изредка высовывая большие пальцы ног наружу и пошевеливая ими, Прокофий Иванович и Аполлон Митрофанович стояли над ним и тоже рассматривали его пальцы.

— Ты такое видел? — спросил Зайцев, неизвестно к кому обращаясь.

— Как научился ходить, босяк! — ответил Ганюшкин. — Неужели нигде не натер? С ума сойти! Верст пятьсот отмахал?

— А тысячу не хочешь! — ответил Сломоухов. — Трех загонял, не считая женского персонала, Сидят и ждут, когда я за ними машину пришлю. Пусть подождут. Я ж часть материалов прямо с Севера направил, а потом отобрал кого повыносливей и петлей на берею, а вы думали? Да с заходом на Старую фанзу, а потом... В мешочек-то заглянул, Прокофий Иванович? — спросил он и многообещающе улыбнулся. — Не забыл я старых друзей.

Прокофий Иванович поставил мешок на стол и достал оттуда какой-то сверток. Взвесив его на руке, спросил:

— От старого?

— Годун, годун попался, — успокоил Сломоухов. — Напоследок. Теперь спать мне не даст: «Отдай, Александра Демисыч, лапу отдай!» — последние слова Сломоухов произнес густым басом в бороду, и Дейнека догадался, что в свертке была медвежатина.

— А это кто? — спросил вдруг удивленно Сломоухов и показал на Юрия Васильевича. — Где-то я его видел, где-то видел...

— Я — Юра, — протянул руку Юрий Васильевич, — Юрий Васильевич,

— Ассистент наш новый, — с обидной небрежностью бросил Ганиюшкин. — Вместо Спирина.

— А откуда сами? — спросил Александр Денисович.

— Из Москвы, — поднял брови Зайцев. — Из самой!

— Я вас где-то видел... Александр Денисович нахмурился, стараясь что-то вспомнить... Определенно видел... Вы, простите, не были прошлый год в Риме? Так в мае, июне...

— В Риме? — переспросил Юрий Васильевич. — Что вы?

— Нет, нет, я хорошо помню, что во время нашего конгресса туда приехала группа физиков. И мне почему-то показалось, что я вас видел. Юрий Васильевич, не запирайтесь. Я этого не люблю. Понимаю — скромность, но есть же предел! Наливай, Прокофий Иванович, разгонную!

Александр Денисович поднес к губам стакан, мельком взглянув на Юрия Васильевича, слегка пригубил и застыл в неподвижности. Казалось, он не пил, но и Аполлон Митрофанович и Прокофий Иванович в восторге не спускали с него глаз, да и Юрий Васильевич с удивлением заметил, что синяя жидкость из стакана медленно, но верно исчезает в бороде Сломоухова.

— Вы знаете, Александр Денисович, вы — наша звезда! — сказал Ворона, когда Сломоухов завершил операцию с синей жидкостью. — Куда, иной раз думаю, куда уйти, улететь, кто поймет меня? А тут вы приходите на ум. Ведь вы здесь, у нас выросли до всемирных масштабов, до Геркулесовых столпов учености и славы! Из ничего, без ничего и вопреки всему!

— А! Александр Денисович, ведь растет наш Ворона, просто на глазах растет, — восхитился Зайцев. — Верно он говорит. Ведь кто к нам приезжает? Может быть, он и голова, а билет уже в кармане на обратный путь. Чемоданники, перекаати-поле. Одному нужно доцента, другому — профессора. Как звание в кармане, так и фьють! Мне один так прямо и сказал: лучше я, говорит, швейцаром буду, да в Москве. Что их там, Александр Денисович, медом кормят? Не могу понять!

— А я могу... — сказал Александр Денисович, со вкусом расправляясь с огромным куском рыбы. — Могу... Я буду прям, прям, как мачтовая сосна. Вот перед нами сидит москвич, — Александр Денисович куском хлеба указал на Юрия Васильевича. — Вы где там жили, осмелюсь вас спросить?

— Я жил в Тихвинском, это...

— Великолепный район, не нужно никаких пояснений. Это не в самом центре, но это и не пригород. В нескольких шагах — широкий проспект, немного подальше Марьино роцца с ее старинными прудами, с фонтаном, впрочем, он, конечно, сейчас не рабо-

тает, но и он мог бы рассказать миллион историй, одну изумительней другой. Жалаете поразвлекаться? К вашим услугам лучшие театры, десятки кинозалов, эстрада, консерватория, наконец. Вы любите старину — вот она: Красная площадь, седой Кремль, золотые маковки прославленных соборов. Иди, человек, вдыхай красоту, историю, науку! И это покинуть? Покинуть все, друзей, знакомых... И стены древние и дыхание нового века. И уехать сюда, в глушь, по сравнению с которой Саратов — второй Вавилон! Зачем? Ведь мы живем только один раз... Я понимаю, отвергаю сердцем, понимаю вот здесь, корой, только корой своего мозга, но понимаю!

— Послушал тебя, Александр Денисович, — задумчиво сказал Зайцев, — и самого разбирает: не скатать ли в белокаменную.

— Но есть, есть и в нашей стороне свое обаяние, — продолжал Сломоухов. — И оно неотразимо для людей сильных. Там, в далекой Москве, все на местах, все полочки заняты и перезаняты. А у нас — нет, здесь простор для молодых сил и для мужской зрелости, и тысячу раз будет счастлив тот, кто, не поддавшись минутному желанию уехать, вернуться назад к удобствам и комфорту, скажет себе: здесь Родос, здесь и прыгай!

— Понял, ассистент? — наставительно поддержал Сломоухова Зайцев. — Води ушами!

Сломоухов одним движением руки отодвинул в сторону тарелки, вилки, стаканы и коротко приказал Прокофию Ивановичу:

— Карту!

Ганюшкин метнулся к верстаку, над которым в стене был укреплен токарный станок, пошарил в ящичке и достал старенькую потрепанную карту, сложенную таким образом, будто ее годами таскали засунутой в голенище сапога. Прокофий Иванович растелил ее на столе и в ожидании уставился в лицо Сломоухова.

— А дум, — указал Сломоухов, — Рубжанск... Так, так... Ах, до чего карта хороша, хоть и исчеркана, варварски исчеркана!

Юрий Васильевич присмотрелся и тоже увидел, что карта исполосована синими и красными черточками и стралами, вероятно, следами давних экспедиций Прокофия Ивановича.

Особенный интерес к карте проявил старик Каргыч. Остро вглядываясь то в один ее конец, то в другой, он что-то шептал про себя, чему-то радовался.

— Вот тут, — указал Сломоухов на какой-то пункт и выразительно приложил палец к губам. — На ружейный выстрел от Ерофеева распадка поляна. Выхожу. Посредине старый кедр, весь су-

хой. А рядом другой, поменьше. Я еще в тумане, а верхушка дерева на виду, и было это сегодня утром...

За столом переглянулись и еще теснее сгрудились вокруг Сломоухова, даже Карпыч перестал водить по карте ногтем.

— Сидит, — продолжал Сломоухов. — Не на самой верхушке, а чуть пониже. Либо, думаю, Филимон Иванович, либо Марья Ивановна. Ничего, думаю, потом разберемся, а мне для чучела пригодится, старый-то филин весь молью побит... Стыдно! Стыдно мне за такие мысли! — Сломоухов гневно потряс кулаками, но все только сильнее наклонились над тем пунктом, на который он указал. — Подхожу ближе, еще ближе. Вертикалочку на травку, а сам глаз не спускаю. Только это я приподнял свой штуцер...

— Промазал! — без голоса прошипел Прокофий Иванович.

— Нет, не мог «промазать», — Сломоухов откинулся на стуле, будто и не собирался продолжать дальше. — К несчастью, не мог, у меня экспресс... Только это я вскинул к плечу, корпус находился в великолепном положении, приклад как раз, ноги циркулем — колоннада! И вдруг с дерева... — Сломоухов откашлялся и голосом старике Карпыча неожиданно тихо сказал: «Не стреляй, милочка... Спокойно так, но на внутреннем волнении необычайном! Я так в траву и сел. Дедуган какой-то на дерево забрался и ночует там. Ах, думаю, раздери тебя совсем, чуть до убийства не дошел. Секундочка бы, и ломинай Сломоухова, как звали. Пули-то у меня меченые, да и совесть, совесть — вот где казнь египетская... Хорошо еще в фляжке коньячок был. Отвинтил я пробочку, отхлебнул, а ноги не держат, хоть плачь. «Эй, старик, — кричу, — ты чего сидишь? А ну, спускайся вниз, потолкуем». А он молчит. Звал, кричал — молчит. Ну, думаю, черт с тобой. Ружье на плечо и скорым шагом через опушку в лес. Вошел в ельничек и ожгло... Тебя, Прокофий Иванович, вспомнил...

Ганюшкин медленно приподнялся на стуле.

— Тебя, тебя вспомнил, — продолжал Сломоухов. Да еще кое-что и еще кое-что... Хорошо, ну, залез дедуган на дерево — ничего страшного, но солнышко-то уже взошло, туман реденький, почему не спуститься? Перекусить человек приглашает — не отвечает. Оно и понятно, по тайге разный люд ходит, но все же... Дай думаю, вернусь...

— И вернулся? — трясущимися губами спросил Ганюшкин.

— Слушай, слушай, Прокофий Иванович... Поворачиваюсь и, осторожно так — на опушку. Смотрю — никого нет. Чуть голову повернул — сидит, но где? На втором, на самой маковке. Да, че мог я ошибиться, не мог! Как же это, он, старый человек, — по голосу-то старый, пока спустился бы, пока поднялся бы... А зачем? Не

уйду! Не уйду с места, пока не прослажу. А сам, вот почему не знаю, штуцер в сторону и вертикалочку на изготовку. Жду... Тишина кругом — птица и та молчит, вот что странно было, она ж поутру чилилю-чилилю, а тут как кто уши заложил, такая тишина. Жду.

— Птица молчит...— почему-то утвердительно повторил Ганюшкин.

— И вдруг «шурх». Глаза поднял, а на дереве никого... Упал! Нет, не упал... А это что? А над речкой, над туманом будто большой орел, хлоп, хлоп крылом и... и пропал. Разрядил я ружье в воздух,— а сам прямо на валежник повалился, бороду — в клочья, сердце — на части. Был же фотоаппарат, был же язык во рту, чувствовал же, что чудо, сердцем чувствовал, так вот тебе, вот тебе — с этими словами Сломоухов несколько раз ударил себя по голове, приговаривая: — слюнтяй, варрава, кретин...

— Не убивайтесь так, Александр Денисович,— попытался успокоить Сломоухова Ворона.— Радуйтесь, радуйтесь, что в живых остались. Быть может, эта говорящая птица обладала громадным клювом и сверху на вас...

— Какая птица? — недоумевая, спросил Сломоухов.— Что ты, Ворона, совсем с ума спятил... Человек это был, человек!

— Ну ты, Александр Денисович, тоже не очень,— примирительно сказал Зайцев.— Обул Филю в чертовы лапти, а мы верь?

— Не веришь? — пораженно спросил Сломоухов.— Мне не веришь? Это как же понимать? Сломоухов — врет? Ну, скажи: «Сломоухов врет».

— А мне как-то трудно определить, где сказка, а где правда,— сказал смущенно Юрий Васильевич.— Конечно, про этого старичка на дереве, вы, Александр Денисович, придумали, но я слушал с удовольствием. Охотничьи рассказы,— добавил он, ожидая взрыва со стороны Сломоухова. Взрыв не заставил себя ожидать.

— Нет! Нет! Нет! И еще раз нет! — заговорил, постепенно распалаясь, Сломоухов.— Я вас не видел в Риме! Вы никогда не были в Риме! Вот единственная неправда, которую я себе позволил за все время. Но это извинительно, не так ли? И не мне вас уговаривать, не мне, человеку природы, по-детски наивному, по-детски чистому, убеждать жителя Тихвинского переулка, которому достаточно повернуть налево, чтобы вдохнуть в себя тлетворное дыхание Бутырской тюрьмы; человеку, ум которого изощрен в борьбе с мошенниками всякого рода, настолько изощрен, что он скорее склонен считать белое черным, чем черное — белым! Я ожидал, что вы спросите: когда? Когда мы с вами, Александр Денисович, направимся на отлов этого странного человека-зверя, а вместо это-

го? Что пришлось мне услышать? Нет, вы никогда не были в Риме! Никогда, никогда, никогда!

— Но ведь и Аполлон Митрофанович... — попробовал было защищаться Юрий Васильевич.

— Проверка! — после секунды едва уловимого колебания твердо сказал Сломоухов. — Вас проверяли. Да Митрофанович немедленно отправится со мной, как только поймет, что я вышел на правильный след. А Прокофий Иванович? Рюкзак пуда на четыре за спину и — вперед. Пойдешь, Прокофий Иванович?

— Денька через три и пойдем, — серьезно сказал Ганюшкин. — Дельце одно провернуть надо, с долгами старыми рассчитаться, и в твоём полном распоряжении. А как же?

Сломоухов дернул бородой в сторону Ганюшкина, как бы говоря Юрию Васильевичу: «Учись, москвич!». Юрий Васильевич обиделся и встал из-за стола.

— Я пойду, — сказал он, ни на кого не глядя. — Вы извините меня. Конечно, вы все здесь друг друга знаете, вы все свои, а я честно сказал, что думал...

— Что же это мы, а? — спросил вдруг Сломоухов. — Человека обидели? Кто посмел? Я вас спрашиваю, кто посмел?

— А пускай идет, — тихо сказал Зайцев. — Ему чего-то там начальству приготовить надо. Демонстрацию какую-то.

Ворона еще что-то зашептал захмелевшему Сломоухову, но Юрий Васильевич уже был за дверью. Карпыч семенил перед ним, время от времени придерживаясь за стену.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Ну, как? Видал Сломоухова? — спросил Карпыч у Юрия Васильевича. — Ему кличка дадена верная... Он и дело понимает, — неожиданно серьезно сказал старик. — Все ребром, да жохом, а дела проворачивает — страсть! Как вьюн, шмыг на Барсю, с чего бы это? Теперь, про тую птицу говорящую рассказывал, к чему бы? А ведь привезет он ее, как пить дать... Ловок, бес, как увидел, так поминай как звали. Ну, а псымает — не подступись тогда. Вот он нынче на овчине спит, а брешет, как с соболей, так ежели что...

— Позвольте, Карпыч, вы думаете?

— А я его знаю, Сломоухова-то. Он что-то видал, не иначе. Да и Ганюшкин что-то заспешил, это тоже хрухт... — старик вдруг остановился, будто ему только сейчас пришла в голову какая-то важная мысль: — Ты карту-то видал? — спросил он у Юрия Ва-

сильевича, заглядывая ему в лицо.— У Ганюшкина-то? Знаменитая карта... Расписана как, вкривь и вкось?..

Они подошли к двери с табличкой «Кафедра нормальной физиологии», и Юрий Васильевич вздрогнул: за дверью горел свет. Первым движением его было — уйти, сразу же повернуть к лестнице, но что-то удержало его. Он не сразу понял, что именно... Ну, ясно, там, за дверью, Федор Никанорович, кому же еще, теперь скорее вниз, за ключом и не думать, ни о чем не думать, кроме как о работе... Но на двери была ясно видна пластилиновая печать. Карпыч тоже насторожился и подошел к двери.

— Ходят,— сказал он, прислушавшись. Теперь и Юрий Васильевич разобрал звук тихих шагов за дверью.

Застыв на месте, они оба прислушались.

— Показалось,— облегченно вздохнул Юрий Васильевич, но Карпыч покачал головой.

— Ходил, ходил,— сказал он еле слышно. И вдруг резко крикнул, таким же молодцеватым фальцетом, каким рапортовал директору, что он, Карпыч, служит народному здравоохранению:

— Отзовись! Отзовись, лешай!

То, что произошло затем, заставило Юрия Васильевича в ужасе отпрянуть от двери. Там, в комнате, где лежал Афанасий Петрович, раздался явственный шум, будто кто-то пробежал через всю комнату, затем звон разбиваемого стекла и все сразу же стихло.

Карпыч преобразился. Он поправил ремешок на гимнастерке, медленно застегнул пиджачок, и приказал Юрию Васильевичу:

— Стой тут!

Юрий Васильевич машинально кивнул, а Карпыч быстро зашагал по коридору. Вскоре он вернулся вместе со всей известной уже нам компанией. Впереди шел Карпыч, за ним Зайцев, осторожно вышагивая в своих гигантских валенках. Прячась за его спиной, ковылял Ганюшкин, сжимая в руке молоток. Рядом с ним — Ворона. Шестые замыкал Сломоухов. В руке он держал вертикалку и шел, пригнувшись, будто крался за зверем. Туфли на его босых ногах громко шлепали. Юрий Васильевич отошел в сторону, предоставив возможность остальным облепить дверь. Зайцев присел на корточки и заглянул в замочную скважину.

— Лежит Афанасий, что ему делается,— сказал наконец он.— Пить тебе, Карпыч, кончать надо. Не те годы.

— Молчать Аполлошка! — ответил Карпыч.— Окно-то, окно, видать?

— Окна не видать... заслоняет машина какая-то.

Сломоухов поставил вертикалку к косяку и чиркнул спичкой.

Потом он поднес ее к двери, и все увидели, что пламя потянуло внутрь комнаты.

— Похоже, что окно открыто,— сказал он.— Может быть, форточка?

— А может быть,— оживился Зайцев, выпрямляясь.— Вот напугал, старый. На грех ты мастер, как я погляжу.

Зайцев погрозил Карпычу пальцем, но в этот момент из комнаты донесся не то сток, не то скрип, и вся компания, раскрыв рты, снова прильнула к двери.

— Открывай, Митрофаныч,— сказал Ганюшкин, схватив ружье.— Открывай, говорю.

Зайцев негнущимися пальцами сложил огромную фигу и поднес ее к самому носу Ганюшкина.

— Видал? — сказал он.— Мне что, под суд за тебя идти? Директора надо звать, вот что... А ну, Ворона, давай вииз, звони Сергею Ивановичу.

На электрических часах, висящих под сводами коридора, было двенадцать.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Появление Чернышова некоторое время оставалось незамеченным. Зайцев, Ганюшкин и Сломоухов в разных позах застыли у двери кафедры нормальной физиологии. Юрий Васильевич забрался на три табуретки, поставленные друг на друга, и, став на цыпочки, пытался что-то разглядеть сквозь стекло над дверью. Карпыч одной рукой держал табуретки, а второй вцепился в штанину Юрия Васильевича.

— Точно,— сказал Юрий Васильевич,— окно разбито...

— А ну-ка, товарищи, отойдите от двери,— приказал Федор Никанорович.— Слезьте, товарищ, со своих вавилонов.— Он достал из кармана ключ и отпер дверь.

Да, в комнате кто-то побывал. Большое стекло в окне было разбито. Лампы под потолком ярко горели. Афанасий Петрович лежал на столе в той же позе, в какой его оставил Федор Никанорович прошлой ночью, и все прошли мимо него прямо к окну.

Федор Никанорович перегнулся через подоконник. Как раз против окна шумело высокое дерево, и листва его поблескивала в свете уличных фонарей.

— Тут карниз,— донесся его голос.— И широкий карниз.

В это время позади стоящих у окна людей раздался тихий стон.

Его не слышал Федор Никанорович, так как по улице как раз проехал грузовик.

И вновь раздался такой же стон.

Теперь к столу повернулись все. Первым подошел Карпыч. Он нагнулся к лицу Афанасия Петровича.

— А Петрович-то живой,— раздался его дребезжащий голос.— Дышит.

— Отпустило его, значит,— оборонил Зайцев.— А чего, летаргия. Обыкновенная.

Сломоухов быстро подошел к столу, наклонился над Афанасием Петровичем. Приложил голову к его груди.

— Бьется,— сказал он.— И наполнение неплохов. Жив Афоня! Ну, а как же иначе? Чтобы меня, Сломоухова, горем встречать? Эт-того базобразия не потерплю!

Сломоухов потряс кулаками над головой и резко приказал:

— Митрофаныч, вызывай неотложку... А ты, Зайцев, давай сюда мой мешок. Там в карманчике все есть, все, что надо. Шприц, камфора, нашатырь... Быстро! И он захлопал в ладоши.— А вас, товарищи уважаемые, мы попросим пока не мешать.

Федор Никанорович, будто очнувшись, тоже подошел к столу, осторожно взял кисть руки Горбунова, про себя стал считать пульс, не отрывая взгляда от ручных часов. Когда он поднял глаза, перед ним, по другую сторону стола стоял директор института и тоже считал пульс.

— Аритмия,— сказал директор.— Яркая выраженная аритмия.

— Пульс пятьдесят,— прошептал Федор Никанорович, не отпуская руку.

— Для мертвого не так уже плохо,— обронил директор.— А? Как находите, Чернышов?

Директор осторожно положил руку Афанасия Петровича на край стола.

— Поддержать сердце нужно,— уверенно и радостно сказал он.— Элементарная электротравма. А вы, Федор Никанорович, панику тут такую развели. Черт знает что! И всех лишних нужно попросить из комнаты. Воздух нужен, воздух! Больше воздуха.

Директор одним движением придвинул стол к Афанасию Петровичем вплотную к окну и быстро потер рука об руку.

Из окна в комнату ворвался резкий плачущий звук. Все вздрогнули. Чернышов осторожно выглянул в окно, но звук больше не повторился, только по-прежнему шумела листва.

Когда прибыл врач из неотложки, сломоуховский шприц уже кипятился на электрической плитке.

Мы оставили Юрия Васильевича в пустом просмотровом зале наедине со своими воспоминаниями. Козлов встретился с ним назавтра и внимательно выслушал его рассказ.

— Вы совершенно правы, Юрий Васильевич,— сказал он, помолчав,— что не торопитесь с выводами. Главное — последовательность фактов, «выстроенность» фактов, если так можно сказать, вы меня понимаете?

— Выстроенность,— повторил Юрий Васильевич.— Да, да, понимаю.

— А причины и связи,— продолжал Козлов,— мы вам отыскать поможем, верьте моему слову.

— Нет,— сказал Юрий Васильевич.— Не верю...

Козлов удивленно поднял брови.

— Не верю... Мне после просмотра вашего фильма показалось, что я смогу быстро, сразу же дать удовлетворительное объяснение, но чем дальше я уходил в прошлое, тем все становилось более и более запутанным. Я рассказал вам о событиях, которые произошли на протяжении двух суток, и как бы ни было полно рассказанное мною, кое-что я мог упустить... Вы думаете о причинах и связях и подразумеваете обычные причины и обычные связи. А они, товарищ Козлов, совсем необычны.

— Ох, Юрий Васильевич,— Козлов погрозил пальцем.— Чего-то вы недоговариваете...

— Я недоговариваю только то, чего сам не знаю,— ответил Юрий Васильевич.— Выслушайте меня внимательно... Вам, надеюсь, приходилось завтракать крутыми яйцами?

— Что за вопрос, Юрий Васильевич,— засмеялся Козлов.

— И вы каждый раз обнаруживали белок и желток, не так ли? А когда-нибудь задумывались, где в яйце спрятан цыпленок? Где у него перышки и глазки, а клювик и ножки? Где они там, когда, облупив яичко, вы находите только желток и белок?

— Яйцо развивается, это все постепенно.

— Золотые слова. Постепенно, все постепенно. Так вот, наш земной шар, а это, поверьте, гигантское сооружение...

— Охотно верю,— согласился Козлов.

— Так вот, весь земной шар, со всеми морями и океанами, со всеми живыми существами: летающими, ныряющими и ползающими по земле — это все только яйцо, рожденное в недрах Солнца. И нам пока дано иметь дело только с белком и желтком, находящимися в стадии бурного развития, но развития еще далеко не законченного! Вы никогда не задумывались над тем, что нужно для

жизни на Земле? Что нужно, чтобы на Земле росли деревья, летали птицы, жили люди? Мы часто говорим: без воды нет жизни, без солнца нет жизни... Но жизни нет и без того элементарного состава, которым располагает наш земной шар. Что, если бы вместо кремния поверхность земного шара состояла из железа или золота, если бы наши моря были наполнены расплавленным свинцом или ртутью? Я уж не говорю о сотнях, тысячах сложнейших сочетаний элементов, нарушение которых, мы никогда не смогли бы существовать. Солнце, создав земной шар, снабдило нас всем необходимым, снабдило щедро и точно...

— Охотно допускаю, — сказал Козлов, — хотя для отчета Москве несколько не по теме... Но, Юрий Васильевич, даже если вы и правы, если все на Земле сделало для нас Солнце, то тогда сложи ручки и жди, когда все это созреет и разовьется? Вы меня, конечно, извините, но это все... философия, Юрий Васильевич.

— Вот тут-то вы и ошибаетесь, — улыбнулся Юрий Васильевич. — Вы слышали об академике Ферсмани?

— Геолог был такой, как же, слышал.

Так вот этот геолог, а более точно геохимик, как-то задался удивительно интересной задачей: построить таблицу элементов, которые интересовали человека в различные периоды его истории. Некоторые элементы, как, например, углерод, были известны человеку всегда. Первый костер был и первым сознательным использованием способности углерода гореть, то есть соединяться с кислородом. Потом настал бронзовый век, а значит, произошло знакомство с медью и оловом. В этот же период времени человечество знакомится с серебром и свинцом, золотом и цинком...

Вот так, шаг за шагом осваивалась таблица Менделеева, и академик Ферсман развернул этот процесс в краткой диаграмме. Казалось бы, что такая диаграмма интересна и только. Но Ферсман обратил внимание, что элементы, которые становились главными в тот или другой период человеческой истории, выбираются не случайно, что существует закономерность в выборе каждого следующего элемента, что эта закономерность связана со строением ядер этих элементов. И вот, в тридцатых годах он высказал предположение, что наиболее важными элементами ближайшего будущего станут титан и германий. Заметьте, в те годы никто не мог предвидеть бурного развития промышленности полупроводниковых приборов именно на германии и прежде всего германии. В то время не было и речи о гигантских ракетах, конструирование которых будет зависеть от наличия в стране титана, все это было в будущем, в далеком будущем...

Представьте всю поразительную силу его метода: на Земле

еще нет необходимости в том или другом элементе, а геологические партии уже заранее выходят на разведку того, что непременно потребуются через пять, десять или двадцать лет... Значит, и ваша, человеческая история теснейшим образом переплетена с историей возникновения земного шара. И такой подход не просто «философия», а вполне реальный метод, за которым стоит авторитет заводов-гигантов и космической техники.

— Значит, Солнце,— тихо сказал Козлов.— А не может ли Солнце непосредственно... вы понимаете?

— Вмешиваться в нашу жизнь? — подхватил Юрий Васильевич.— Может быть, может быть... Мне даже кажется, что вы правы. Я вообще, товарищ Козлов, последние года два все больше доверяю своей интуиции. Мне иногда представляется какая-нибудь картина... То это чужой город, то далекий берег какого-нибудь моря... Да мало ли что еще. И меня не покидает чувство, что это все так и есть, что это не плод фантазии. Мне иногда кажется, что я могу привести в движение какие-то силы... Умоляю, не думайте, что это бред, я вполне нормальный человек. Вот даже сейчас, когда я говорил с вами, каким-то вторым зрением, параллельной линией образов... Да вы смеетесь надо мной...

— Продолжайте, Юрий Васильевич,— поспешил успокоить его Козлов.

— Но, видите ли, я последнее время как-то неспокоен, мне все кажется, что, стыдно сказать, моя жизнь в опасности, вы понимаете... Нет! Я уверен, что это так! Я даже вижу человека... Он в водолажном костюме.

Юрий Васильевич замолчал и нахмурился. Козлов старался не проронить ни слова.

— А он, он чем-то со мной связан,— сказал Юрий Васильевич.— Вооружен... А впрочем, все это чепуха...

— Чем черт не шутит,— сказал Козлов,— попробуйте описать подробнее, где именно находится этот человек. Попробуйте, Юрий Васильевич.

Козлов раскрыл блокнот и сжал карандаш в руке так, что побелели пальцы.

— Он сейчас на палубе... Ага, это подводная лодка. Это, знаете где? — я, кажется, могу показать на карте...

Два дня спустя в Москва сотрудник военно-научной экспертизы вошел в знакомый уже нам кабинет и попросил позволения воспользоваться графином с водой, стоящим на отдельном столе. Он достал из портфеля прямоугольную ванночку из органического стекла и налил в нее воды. Стараясь не расплескать, он поставил ванночку на письменный стол и погрузил в воду белый прямо-

угольник некрахмальной ткани. Через секунду, когда ткань намочла, на ней ясно проступили очертания лица. Это было то же лицо, что возникло на фоне горящих самолетов, только на этот раз улыбающееся и довольное. Раны на лбу не было.

— Вот все данные, — сказал сотрудник военно-научной экспертизы и протянул запечатанный конверт. Распишитесь в получении. Можно прямо на конверте.

Руководитель группы вскрыл конверт и пробежал глазами содержание листа. В нем заключалось следующее:

«Кусок ткани, изъятый из подкладки пиджака, принадлежавшего нарушителю границы в районе Приморска. Личность нарушителя неидентифицирована. Убит во время перестрелки. Легководолазный костюм и остальное снаряжение обращают на себя внимание высоким качеством изготовления и продуманностью деталей. Фирменных знаков и клейм не обнаружено». На обороте была приписка рукой Козлова: «Нарушитель высадился в квадрате, указанном Д».

Белый прямоугольник медленно вытаскивали из воды. Изображение на ткани стало бледнеть и вскоре бесследно исчезло.

Но вернемся вновь в прошлое. Ведь Юрий Васильевич должен был присутствовать на лекции первокурсников и помогать при физических демонстрациях...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— А теперь, товарищи будущие медики, — сказал заведующий кафедрой физики, обращаясь к аудитории в белых халатах, — наш ассистент докажет вам, что механическая работа способна перейти в тепло. Прошу вас, Юрий Васильевич.

Юрий Васильевич вышел из-за доски и взялся за молоток. Под озорные выкрики аудитории он нанес кусочку свинца два десятка сильных ударов и положил сплюснутый кусочек металла на донышко перевернутой колбы, соединенной с U-образным манометром. Подкрашенная перекисью марганца жидкость тотчас же сместилась, показав тем самым увеличение давления в колбе. Софрон Григорьевич окинул аудиторию торжествующим взглядом. Лицо Юрия Васильевича тоже приняло выражение сосредоточенное и серьезное.

— Встать! — раздался вдруг голос старосты курса, здорового парня в клешах, выглядывавших из-под халата. Юрий Васильевич уже знал, что Фомин служил боцманом на Тихом океане и был

намечен в старосты курса еще до сдачи всех экзаменов. — Эй, на полубаке! — продолжал громогласно Фомин. — Кому сказано?

В аудиторию вошел декан, правой рукой сделав знак, чтобы садились, а левой, ладонью вверх, к Софрону Григорьевичу — извинительно.

Вымуштрованный Фоминым курс продолжал стоять.

— Первый курс Рубежанского медицинского института в полном составе присутствует на лекции по физике! — отрапортовал староста. — Больных нет. Отсутствует один Селезнев.

— У меня несколько объявлений, — сказал декан Софрону Григорьевичу. И — строго Фомину: так что же с Селезевым?

— Сачкует, товарищ декан. Говорит, ему сперва жениться нужно, а потом уж учиться.

В аудитории засмеялись.

— А тебе дело? — выкрикнул кто-то из заднего ряда. — Унтер Пришибеев.

— Я те покажу унтера! — прорычал Фомин вполголоса. — А ну, выдь, выйди говори!

— Фомин, Фомин, успокойтесь, — сказал декан, поднявшись на помост. — Вы не на крейсере, здесь совсем другой тон нужен, — и вдруг закричал сам каким-то чужим голосом: — почему без шапочек! Сколько я буду напоминать! Куда смотрит староста курса? Безобразия!

Аудитория завозилась, и на головах студентов сразу же оказались беленькие шапочки. Фомин восторженно глядел на декана. Сейчас он был снова в родной стихии.

— Девушка из Новинска, встаньте, — нараспев сказал декан.

Поднялись в разных концах аудитории две девушки.

— Вы сядьте, — сказал одной из них декан. — Вы в Ноаинске школу окончили, но родились в Барнауле. А вот с этим товарищем у меня будет серьезнейший разговор... Девушка из Новинска, ваша фамилия Лапина?

— Да, Лапина, — едва слышно сказала девушка.

— Лапина, где ваш череп?

Лапина опустила голову.

— Разрешите, товарищ декан? — прервал молчания Фомин. — Он у ней на голове, череп.

Юрий Васильевич не выдержал и громко хмыкнул, за ним расхохоталась вся аудитория. А когда смех прекратился, Лапина тихо сказала:

— У меня.. у меня череп украли..

Теперь уже засмеялся и декан. А девушка назрыд расплакалась.

Фомин одним прыжком бросился к ней. Уголком шапочки смахнул с девичьей щеки слезинку и, обернувшись к аудитории:
— Говори, кто?
В наступившей тишине яростно застучал звонок.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Афанасий Петрович попытался встать, но почувствовал, что не может приподнять голову. Будто кто-то сильный положил ему невидимую руку на лоб и осторожно, но непреклонно возвращает голову обратно на жесткую подушку.

— Свстра... — позвал он и удивился слабости своего голоса. — Есть кто-нибудь?

Дверь тотчас же отворилась. В палату вошел доктор Пасхин. И это как бы подтвердило, что все остальное только привиделось Афанасию в каком-то сне. Но доктор Пасхин был совершенно сед, а тогда — нет, тогда он не был седым.

— Лежи, лежи, — сказал Пасхин и, повернувшись на пороге, сказал кому-то за дверью: — Заходите, товарищи.

Первым за Пасхиным вошел Сергей Иванович, директор института. За ним сразу же вошли еще человек семь. Шестивив замыкал Федор Никанорович Чернышов.

— Здравствуйте, — сказал Афанасий Петрович и попытался встать.

— Ну, ну, без глупостей, — сказал Сергей Иванович.

Пасхин присел на табуретку возле Афанасия и взял его руку.

— Семьдесят два, — сказал он через некоторое время, пряча в жилетный карман часы, и столпившись у кровати врачи переглянулись.

— Что со мной? — спросил Афанасий. — Почему я здесь?

Директор наклонил голову.

— Почему вы не отвечаете? Мне даже показалось, что это все мне снится. В этой самой палате я уже лежал и вдруг олять. Пойдите, я вспомнил... Да, да, я все вспомнил... Я вошел к себе на кафедру... И меня что-то сильно ударило. Не пойму даже что... Вот сюда.

Афанасий Петрович медленно поднял руку и показал куда-то за голову.

— Вот сюда...

— Правильно, правильно, кровоподтек есть, — сказал Пасхин.

— И это все, что вы помните? — быстро спросил Федор Никанорович, выглянув на мгновение из-за чьего-то плеча.

— Нет, — в раздумье продолжал Афанасий, — потом была боль. Один раз... и второй... и все...

— А перед этим, перед тем, как вы потеряли сознание,— извините, но не могу не спросить,— вы ничего не писали? — Сергей Иванович наклонился над Афанасием.— Значит, нет...

Пасхин медленно повернул Афанасия Петровича на бок, и над его спиной склонились все присутствующие. Кому принадлежали отдельные восклицания, Афанасий Петрович не всегда мог определить.

— Выход тока,— торжествуя сказал Сергей Иванович.

— Не похоже,— (это, кажется, Пасхин).

— Нет, нет, когда он...

— Потом, потом,— (явно Пасхин).— Пока только смотрите. Только смотрите.

— Нет, это скорее вмешательство.

— И второпах, я бы сказал,— (кажется, Федор Никанорович).

— М-да...

— Страшного для жизни я ничего не вижу...

И тут случилось то, чего меньше всего могли ожидать собравшиеся. Рука Афанасия вдруг вынырнула где-то возле шен, пальцы пробежали по обнаженной лопатке, и Афанасий Петрович весь как-то обмяк.

— Он потерял сознание... — сказал Пасхин, нагнувшись над ним.— Ничего, ничего, приходит в себя.

— Может быть, укол? — спросил Сергей Иванович.

— Теперь мне конец,— глухо, в подушку сказал Афанасий Петрович.— Все...

— Ничего, ничего, все позади, Афоня,— сказал Пасхин.— Сейчас мы дадим вам отличнейшего бульончику!

Пасхин сделал знак собравшимся, чтобы они вышли из комнаты.

— Что за глупость, Афоня,— заговорил Пасхин вполголоса.— Лет семь назад я предлагал вам от этого избавиться, и вы были почти согласны. Откуда такая мнительность? Без этого можно жить и совсем неплохо!

— Он здесь, он здесь, понимаете,— шептал Афанасий Петрович,— вы понимаете?

— Ах, вот что? Да, это возможно...

— Здесь он, здесь,— почти выкрикнул Афанасий Петрович.

— Но в госпитале вам ничто не угрожает, ничто... Ложитесь спокойно, ничего не бойтесь. Сейчас я пришлю сестру, вас покормят, и все будет в полном порядке. В самом полном порядке...

Сестра принесла бульон, и Пасхин не ушел, пока Афанасий Петрович не выпил полную чашку.

— Нам нужно поговорить,— сказал Пасхин, поворачиваясь к Федору Никаноровичу и Сергею Ивановичу.

— Мы так и поняли,— директор быстро прошелся по комнате и сел на диван рядом с Чернышовым.

Пасхин прикрыл балконную дверь, и кабинет тотчас же наполнился запахом госпиталя, не поддающимся, как известно, ни анализу, ни описанию.

— Я расскажу вам все, что может пригодиться в дальнейшем,— начал Пасхин, усаживаясь на стуле перед диваном.— Многое вы уже знаете сами. Многого я и сам не понимаю, только так в общем. Скажу откровенно: жизнь Афанасия Петровича в опасности.

— Да, но вы сами...— начал было директор.

— Сам, сам... Речь идет не о состоянии его здоровья. Здесь мы сделаем все, что в наших силах, и дивей через десять он будет играть в футбол, если пожелает. А вот что потом, после его выхода из госпиталя?

Пасхин посмотрел на Сергея Ивановича, потом на Федора Никаноровича.

— Я вижу, что вы до конца не понимаете всего случившегося.— Пасхин поднялся со стула и, протянув руку к письменному столу, взял с его края большой конверт.

— Здесь я приготовил все, чем, собственно, располагал. Пасхин достал из конверта книжечку истории болезни и несколько листов, заполненных какими-то странными знаками.— «Ефрейтор Горбунов Афанасий Петрович,— прочел Пасхин по истории болезни,— 22 февраля 1944 года получил сквозное осколочное ранение левой половины грудной клетки с открытым пневмотораксом и переломом шестого ребра и лопатки...» Картина ясная? — спросил Пасхин своих слушателей, те согласно кивнули.— Так почему же я вам это читаю? Да потому, что кому, как не мне, пришлось не один раз разглядывать эти самые лопатки Афанасия Петровича. Я обратил внимание, да и нельзя было не обратить, на дав симметричных выроста у края лопаток. Выросты эти имели в длину сантиметра четыре, не больше..!

— А диаметр? — спросил директор больше для того, чтобы показать, что он внимательно слушает.

— Диаметр? — переспросил Пасхин и тихо сказал:— Диаметра точно такого же, как те рубцующиеся ранки, что вы видели только что на спине Афанасия Петровича.

— Так ему кто-то сделал операцию?— воскликнул директор.

— Операцию! — усмехнулся Федор Никанорович. — Предваряемую ударом по голове вместо наркоза.

— Это еще не все. — Пасхин достал листки, исписанные фиолетовыми завитками. — Вот это, — сказал он, показывая листки, — мой дневник за те дни. Времени было мало, ну я и стенографировал все, что, по-моему, могло в дальнейшем пригодиться. Сегодня с утра я перечитал их внимательнейшим образом, и мне сразу стала ясна ценность вот этих записок. Разрешите, я вам их прочту. «17 мая 1944 года предложил выздоравливающему Горбунову произвести удаление аномалий лопаточных отростков, на что получил неожиданный отказ. Обратил внимание на то, что раненый Горбунов пришел от моего предложения в крайний ужас. Это тем более удивило меня, что на всех многочисленных поэтапных операциях и осмотрах он проявил абсолютную выдержку и терпение. Вечером того же дня он сам подошел ко мне и сказал: «Не обижайся, доктор, хоть и не нужны они мне, а не надо». «Как хочешь, я просто думал, что женишься, зачем жене удивляться, будто ты не как все. А так, ранение, мол, было и ладно». «А я не как все», — ответил Горбунов, и мы разошлись».

Так... Тут результат осмотра в палате легкораненых... Ах вот, вот еще. Эта запись относится к более позднему времени. Вы, конечно, знаете, что он, быстро оправившись от ранения, стал самым деятельным помощником персоналу госпиталя. Афоня, сюда, Афоня, туда, Афоня, в перевязочную, Афоня, носилки! Это была не просто услужливость, нет... Но это к делу не относится.

Вот следующая запись: «Горбунов рассказал мне любопытную историю. Будто в глубине тайги, откуда он родом, временами появлялись чужаки, охотящиеся за людьми с такими же выростами на лопатках, как у него». «Я знаю, о пантах, — сказал я ему. — Но это у оленей. Тут ничего негуманного нет». «А вы видели, — спросил меня Афанасий, — как снимают панты?» «Разумеется, — отвечаю. — Сколько раз. Тут у нас неподалеку оленеводческий совхоз». «Это не те панты, — говорит Афанасий. — Вот когда спиливают рога вместе с частью оленьего черепа — вот этим пантам цены нет...» «И что же они с ними делают, эти люди?» «Не знаю... Продают куда-то на той стороне. Я почему из тайги вышел? Вот за таким ловцом пошел. А тут меня в армию забрали, я ж и про войну не знал. Ничего не знал. Грамоте в армии выучился. Мне же теперь в деревне и появиться нельзя. Скажут: «Продай Афанасий крылышки-то свои... А мы же на тебя надежду имели». Вот, собственно, и все...»

Пасхин сложил листки вместе и спрятал в конверт.

— Чушь какая-то,— сказал Сергей Иванович.— Да неужели в наше время могут найтись люди... Хотя...

— Да, в наше время разные люди бывают,— заметил Федор Никанорович,— и отваги бесконечной и жестокости хватает самой варварской. Но теперь проясняется главное. Налицо весьма определенное преступление. Похоже, что не Афанасий Петрович разыскал своего обидчика, а тот его...

— Правильно! — вырвалось у Пасхина.— Не хотел я начинать с этого. И это понял Афанасий Петрович. Понял. Он так и сказал мне сегодня: «Он здесь!» И добавлю от себя, судя по всем обстоятельствам, это сотрудник нашего института.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Карпыч обогнул скалу и медленно стал подниматься по едва приметной тропке, выющейся между камней. Наверху он отдышался и неожиданно быстро зашагал к глухому забору, окружавшему старинный трехэтажный особняк. Здесь, стоя у забора, Карпыч осторожно оглянулся и, нащупав щеколду, проскользнул внутрь заднего двора, за которым возвышались хозяйственные пристройки особняка. Сбоку Карпыч разглядел стайку мальчишек, штурмовавших крепостные орудия времен Севастопольской войны. Когда-то эти орудия отстояли Петропавловск-на-Камчатке и были привезены сюда как воинская реликвия тех славных лет. Все еще величественные, отшлифованные до блеска животами поколений ребятишек, они возвышались на чугунных многотонных лафетах, грозя неведомому противнику. Рядом стояли трофейные французские и английские скорострельные пушки с железными сиденьями для наводчиков.

Карпыч бочком приблизился к одной из пушек и вдруг, изловчась, схватил одного из воителей за рукав и потащил сопротивляющегося изо всех сил мальчишку к парадной двери с табличкой: «Рубежанский краеведческий музей».

— Дяденька,пусти! — просил мальчишка, но Карпыч со словами «Не ломай реликвию!» втащил его все-таки внутрь здания.

— Директора мне,— строго сказал Карпыч, не выпуская рукава присмирившего мальчишки.— Слышишь, старая?

Пожилая уборщица, вытиравшая пыль с громадного мамонтова бивня, живо восприняла это приказание Карпыча.

— А ты молодой! Кто ты такой, чтоб мальчишков таскать?

— Говорю, зови директора,— настойчиво сказал Карпыч, и

уборщица, тяжело топая, пошла вверх по широкой каменной лестнице, украшенной скульптурами доисторических людей и схемами, на которых, будто яблоки среди ветвей, виднелись изображения странных чудовищ.

— Кто это? — доверительно спросил мальчуган Карпыча, показывая на скелет мамонта.

— Это? — Карпыч нахмурился. — Это мамонт. Слон древний.

По лестнице, неслышно ступая, спускалась высокая худая женщина.

— Там той старик, — донесся сверху голос уборщицы. — И мальчишка с им. Слышь меня, Ирина Ильинична?

— Слышу, слышу, — ответила высокая женщина и тряхнула коротко подстриженными седыми волосами.

— Вы ко мне? — спросила она, строго глядя на Карпыча.

— Доброго здоровья вам, товарищ директор, — сказал Карпыч, кланяясь. — Прохожу это я мимо вашего заведения, а вот этот сорванец в орудию вашу как вцепится и давай ручки крутить. Ну, куда смотришь, куда? — дернул он за рукав приведенного им мальчишку.

— А там кто? — спросил громко мальчишка и даже всплеснул руками. — Рыба какая большая...

— Ты никогда не был в нашем музее? — удивилась Ирина Ильинична, наклоняясь к мальчику. Тот замотал головой. — А у нас много всть интересного. Ты каких животных больше всего любишь?

— Хищных, — чуть подумав, ответил мальчишка.

— Так у нас есть тигры! — воскликнула Ирина Ильинична.

— Живые?

— Они не живые, но как живые... Вот, ступай по лестнице вверх, а с площадки уже виден один, самый страшный.

Мальчишка осторожно стал подниматься по лестнице, то и дело поглядывая вверх. Последние ступеньки он преодолел с величайшей осторожностью, после чего раздался его восхищенный голос:

— У-у-у, какой!

Карпыч и Ирина Ильинична переглянулись.

— Ну, конспиратор, не можешь без фокусов? — сказала Ирина Ильинична.

— Как живешь, Илларион Карпыч? — спросила она, усаживаясь за письменный стол. Что это тебя давно не было видно?

— Худые вы стали, — сказал Карпыч, — кожа да кости.

— Спасибо тебе, Карпыч, очень приятное замечание.

— Кушать нужно, Ильинична. Себя переломи, а лопай.

— Не всегда хочется. А иногда и забываю. Нароботаешься, промерзнешь. Тут же все лето сырость. Жду не дождусь, когда можно будет топить. А приду домой — ничего делать не хочется. Когда еще дочка была здесь, так веселей как-то было.

Так с чем пришел, Карпыч?

— Ты не обижайся, Ильинична. Боюсь я...

— Боишься? — рассмеялась Ирина Ильинична так заразительно, что Карпыч невольно улыбнулся.

— За тебя боюсь, Ильинична, — сказал он серьезно. — Ты и так худая, как загнанная лошадь, а то и вовсе...

— Да что ты крутишь, говори прямо.

— Прямо, прямо. У самого сумления имеются... Ты-то помнишь дело с картой? Это когда Павла твоего расстреляли.

— Хотела бы забыть, да, видно, не смогу.

— Так я, — Карпыч наклонился к самому столу и еле слышно сказал: — ту карту видел...

— Какую карту? — побелевшими губами спросила Ирина Ильинична. — Ту самую?

— Ее.

— Но я же помню, мы ее искали!

— А нашли?

— Нет.

— То-то... Увез ее Калныков, увез.

— Конечно, конечно, нам она была еще так нужна. Постой, Илларион Карпыч, да ведь он же ее в броневике увез, мы же потом выяснили.

Карпыч оживился.

— Вот она, память-то молодая. Правильно, в броневике, а как же! Калныковские китайцы как жахнут вдоль по Синею речку. Митрофанова тогда как раз отряд стоял, и по окраине и... Так как же я-то мог забыть? А карта та самая, даже уголок оторван, это когда Калныков в сердцах по ей нагайкой хлестнул. Примета верная...

— А где ты ее видел?

— Так, один человек показал... — нахмурился Карпыч. — Человек так себе... Да будто я его где видел...

— А какой он из себя? — после некоторого молчания спросила Ирина Ильинична.

— Такой... Урода он, вот какой. Верно, встречала его, он вот так ходит... Карпыч вышел из своего уголка и, припадая на левую ногу и передвигая всем туловищем, показал, как ходит этот человек.

— А лицо, лицо? — спросила возбужденно Ирина Ильинична.

— Подряпано лицо... Медведь, говорит.

— Вы сказали «подряпано»?

— Ну, рубцы, шрамы по всей морде.

— Я его знаю,— твердо сказала Ирина Ильинична.— Я его много раз встречала и никакого внимания не обращала. Очень часто я видела его с лодкой, такой белой.

— Люминиевая, люминиевая у него лодка,— подожмул Карпыч.

— А однажды, было это лет пять или шесть тому, он продавал на рынке, возле речного вокзала, тушки енотовые.

— А отчего ж, он может. Что ты, Ильинична, зверя он знает всякого.

— Да, да, я подошла к нему и спросила, не найдется ли у него шкурки енотовидной собаки. «Нет,— говорит он мне,— матушка, шкурки все сдал», и тут он мне будто знакомым показался. В глазах что-то... Я ему тогда: «Вы меня извините, но я вас где-то видела». «А это очень даже возможно, матушка». Да как закричит на весь рынок: «Кому сала енотового? Кому лачиться? Кому жечь? Налетай, туберкулезные, налетай, болезные!»

— Он, он самый,— сказал Карпыч,— он кабы мастером не был, так прямо кловун, шут балаганный.

— Ой, Карпыч, может, это все только твои страхи? — спохватилась Ирина Ильинична.— Карта могла быть и потеряна, и продана, да мало ли что, может, ты ошибся, хотя нет, нет, не свардись только. Я тебе верю.

— Оперативная карта была, Ильинична, чтоб ее кто продал? Слышь, Ильинична, у тебя фотографии не сохранилось, той, помнишь, что сняли с мертвого?

— Кажется, есть...

— Там же весь штаб калныковский, может, кого знакомого стретим?

— Тогда посиди тут, Карпыч. Я сейчас приду.

Ирина Ильинична быстро вышла из кабинета и вскоре вернулась с большой синей папкой.

— Вот тут калныковцы, здесь не одна фотография.

Ирина Ильинична развязала тесемочки и раскрыла папку. Среди десятков фотографий сожженных деревень, висалиц с почерневшими телами повешенных, железнодорожных станций — на перронах кучками полураздетые трупы — отыскалась и фотография, найденная в свое время среди бумаг застреленного партизанами калныковского офицера. Был на ней запечатлен весь штаб атамана. Каждый сидевший в двух первых рядах был помечен аккуратным номерком тушью, а на обороте карточки, против номерка, тонким «писарским» почерком значился его звание и фамилия.

Ирина Ильинична достала из стола очки и вместе с Илларионом Карпычем принялась изучать фотографию. Вода сломанным ногтем по ряду усатых физиономий, Карпыч время от времени приговаривал: «Ловись, рыбка, большая и маленькая».

— Стеклышка-увеличилки у тебя нет, Ильинична? — спросил он.

Ирина Ильинична протянула ему лупу в черной оправе, и Илларион Карпыч перешел к следующему ряду.

— Вот он,— сказал он спокойно и подчеркнул ногтем чье-то лицо.

Ирина Ильинична рассмеялась.

— Ну, что ты, Карпыч, это же красавец, такой видный, холерный. Это штабс-капитан Мезенцев...

— Он, он,— настойчиво повторил Карпыч, только морда подрыпана да ногу волочит.

— Да что ты, уж кого-кого, а Мезенцева я отлично знаю. Он же меня лично допрашивал. Вон недавно, когда было столетие города, товарищи из партархива зачитывали на собрании протоколы допросов, среди них был и мой. Это зверь, я была бы довольна, если бы это был он, но нет... И Ирина Ильинична покачала головой.

— Что это ты раскудаhtалась, Ильинична? — сердито спросил Карпыч.— Ты возьми увеличилку и сама, сама...

Ирина Ильинична осторожно взяла из рук Карпыча фотографию, из рукава достала платочек и тщательно протерла лупу. Потом внимательно взглянула на отчеркнутое ногтем лицо и мертвенно побледнела.

— Глаза,— сказала она,— никаких сомнений. Мезенцев...— она быстро перевернула фотографию, пробежала глазами список членов калыковского штаба.

— Здесь его нет...— сказала она.

— А понятно,— заметил Карпыч,— он же из контрразведки.

— Никаких сомнений,— вновь повторила Ирина Ильинична, перевернув фотографию.— Эти глаза трудно забыть... А я все вспоминала, где это я такие шрамы на лице видела... Но как же Федор Никанорович его не узнал?

— Разжирел Федька,— сказал Карпыч.— Ну, ничего, я как ему шепну, так живо оживает. У него, верно, тоже с ним счет: имеются, как думаешь, Ильинична?

— Такой зверь, такой зверь,— покачала головой Ильинична.— Ты-то сам, смотри, кому не проговоришься.

— Чуть было не дал маху,— сознался Карпыч.— Это когда карту-то увидел. Всего, понимаешь, Ильинична, так и затрясло.

Ирина Ильинична набрала номер на диске новенького телефо-

ка, и когда на другом конце провода подняли трубку, спросила Федора Никаноровича.

— Он на совещании,— сказала она, положила трубку.— Позвоним позже.

— Не нужно звонить...— сказал Карпыч.— Я сам вечером пойду к Федору Никаноровичу домой.

— Будь осторожен, Карпыч, будь осторожен...

Илларион Карпыч вышел из музея и, обогнув здание, выбрался через калитку в парк.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Вечером того же дня в кабинете Шафаровой зазвонил телефон. Говорившего было плохо слышно, голос как-то странно шипел. Собеседник сказал:

— Не называйте меня по имени, Ирина Ильинична... Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь случайно узнал об этом звонке. Поверьте, я сейчас в невероятно трудном положении. Нам нужно встретиться... Зайти к вам я не могу. Вы помните нашу встречу после того печального случая, который постиг вашего мужа и отчасти меня? Помните? Так вот, на том же месте, часов в одиннадцать,— говоривший помолчал и веско добавил, снимая последние сомнения:— Илларион Карпыч мне все рассказал. Дело серьезное.

Говоривший повесил трубку. Ирина Ильинична задумалась. Все вместе взятое встревожило ее чрезвычайно. Да, странный звонок, странный... Неужели дело зашло так далеко, что ей нужно идти бог знает куда, чтобы поговорить с Чернышовым? Хотя штабс-капитан Мезенцев — одна из самых злобещих фигур времен атаманщины... Ирина Ильинична вспомнила, как недавно, отбирая материалы для экспозиции, посвященной гражданской войне в этих краях, долго не могла найти подходящей фотографии: одна страшнее другой... То, что на них было изображено, была правда, но нужно щадить нервы посетителей музея...

Ирина Ильинична вышла из кабинета и долго ходила по опустевшим залам. Неожиданно ее внимание привлек стенд, под стеклом которого находились старинные японские клинки. В кармане вязаной кофточки услужливо звякнула связка ключей, и она, как-то не отдавая до конца отчета в том, что делает, открыла стеклянную дверку. Ирина Ильинична выбрала небольшой кинжал с длинной рукояткой и чуть изогнутым лезвием. Судя по времени изготовления и отметинам на клинке, оружие это не раз применялось в качестве «последнего судии». Ирина Ильинична сжала рукоятку,

резко взмахнула кинжалом и сразу же успокоилась. «Экспонат находится у заведующей»,— написала она на картонном квадратике, положила его под стекло и аккуратно заперла стемд.

Вниз по лестнице спускалась уже не усталая и расстроенная женщина. Теперь Ирина Ильинична была готова к любым неожиданностям. Больше того, ей вдруг сразу же нестерпимо захотелось чего-нибудь съесть. Впервые со вчерашнего вечера. Такова странная власть острой блестящей полоски металла над чувствами встревоженного человека.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Ходил во время оно по Адуу кораблик. Возил ссыльно-каторжных, возил соль и рыбу, переселенцев и крупный рогатый скот. Возил, пока в весеннее половодье не наскочил на камень. Сняли с кораблика все, что только можно было снять, а остальное долго вялилось на солнце и мокло под дождем. Потом от борта была оторвана первая доска. Просто так. Потом исчезла мачта. Может быть, и растаскали бы кораблик по одной доске, но некий оборотистый мужичок нанял возчиков и в две недели перевез деревянную обшивку подальше от родной стихии. И выстроил презабавный домик. Был он очень похож на кораблик с обрубленным носом и кормой: доски и через десятки лет сохранили корабельную выпуклость.

Среди жильцов, населявших в то время это сооружение, мы встретим и наших знакомых. Спардек занимал Илларион Карпыч Харламов, длительное одиночество которого было теперь счастливо окончено с прибытием его внучатной племянницы из Новинска. Да, та самая девушка из Новинска, которая была обвинена в небрежном хранении институтского черепа. Был и еще один жилец, занимавший бывший камбуз дома-корабля. Им был не кто иной, как тот расторопный старшина первой статьи, который участвовал в задержании Ганюшкина. Сегодня он рано вернулся с базы и вот уже с полчаса поджидал девушку из Новинска, сидя на скамеечке перед домом.

Никаких особенных дел к внучатной племяннице Карпыча он не имел. Но когда девушка возвращалась из института, он всегда говорил ей: «Здравствуй, Валентина!» и снимал мичманку за козырек. Сегодня исполнялся небольшой юбилей: «Здравствуй, Валентина!» должно было прозвучать в тридцатый раз. Пора уже приглашать в кино. Но вот и она.

Наш старшина не поверил своим глазам. Рядом с Валентиной

вышагивал здоровенный моряк в форменном синем кителе без погон. Старшина взглянул на него мельком и, сдвинув мичманку на лоб, опустил голову. Вот они, женщины!

Валентина между тем приблизилась, беседуя со своим спутником. Подойдя к дому-кораблю, она остановилась на пороге и сказала:

— Вот тут я и живу. Спасибо, большое спасибо.

— Прямо корабль!— восхищенно сказал Фомин, оглядывая жилище.— Покрасить бы его. Продрантъ, а потом покрасить.

Валентина не стала выслушивать дальнейшие боцманские планы и ушла в дом. Третий участник этой сцены решил, что его час настал.

— Гражданин,— сказал старшина, не поднимая головы,— ты бы отсюда топал...

— Что? — спросил Фомин, и его голос приобрел один из тех семисот семидесяти двух оттенков этого местоимения, который невозможно передать на бумаге.

— К сведению некоторых штатских,— продолжал старшина,— тут стоянка запрещена. Подветренно.

— Вот что, друг,— вежливо сказал Фомин,— хочешь верь, хочешь нет. Я в игре не участвую. Переживания сегодня у ней, вот я и проводил как начальник. По-человечески.

— Ладно, чтобы я тебя не видел больше...— возможно, наш бравый старшина хотел еще что-нибудь добавить, но Фомин быстро подскочил к нему и надвинул мичманку на нос.

— Пусти,— выдал из себя старшина, силясь оторвать подбородок от пуговицы на кителе, которая в него вдавилась.— Пусти, Фомин! — вдруг выкрикнул он.

— Постой,— сказал Фомин, сдергивая мичманку со старшины.— никак ты, Ашмарин? Ну да, Ашмарин, чертушка...

Далее пошли похлопывания по плечам, дружеские толчки под бок и прочие скупые проявления мужского чувства.

— Я же тебя сразу не признал,— сказал Ашмарин.— А как ты меня за кумпол зацепил клешней, аж дышать не дал, так я и сразу: Фомина штучки-дрючки. Ну, браток, давай петушка!

Дальнейший разговор протекал уже под крышей камбуза дома-корабля. Кипел в кастрюльке кофе по-морскому. Фомин сидел на койке, Ашмарин рылся в сундучке в поисках фотографий.

— Подаю, понимаешь, документы,— рассказывал Фомин, стараясь не пропустить ни одной подробности.— Это же все Виктор Степанович, он с меня шкуру снимал. Учись да учись! А я ни в казную, отупел от своего боцманства, ну, никуда! И так помалу, по-

малу на аттестат в Приморске сдал. Ну, сразу в мореходку. А что, дело привычное. Не приняли.

— Это ж через почему?

— Не приняли... Долго со мной там калякал один.

— Ну, как же? А может, что по кадрам?

— Да нет, я ж один на свете.

— Чудно...

— И не чудно. Правы, кругом празы. У вас, говорит, товарищ моряк, окостенение мозгов, вроде. Вы, говорит, душа-то морская, а вот математики высшей не осилить. Поздновато гришли к нам. Раньше надо было...

— Раньше,— усмехнулся Ашмарин.

— Да, раньше. А я семь лет до войны, да всю войну, да на сверхсрочной — посчитай. Ну, говорю, спасибо. Служи, Фомин, войой, Фомин. Есть! Молодца, Фомин! А тут окостенение мозгов...

— Кранты,— вздохнул Ашмарин.

— Вот-вот. А потом я так раскинул, что если я на врача выучусь, а потом опять на флот подамся? Ведь возьмут?

— Это ты здорово придумал.

— Вот и окостенение. Я как пришел в мединститут, подаю документы, так на меня декан только глянул, и я ему вроде понравился. «Кем, спрашивает, вы служили? Выправка у вас молодецкая. Боцманом? Это, говорит, очень интересно, я, говорит, читал про боцманов. Это они дудками дудят?» Потеха! «Так точно, говорю, свистят». «И ругаются еще?» «Никак нет, говорю, у нас с этим строго. Как заматюкаешься, так такого фитиля дадут, будь здоров». «Фитиля? — спрашивает.— Это интересно...» И пошел.

— Он, он кто, декан этот?

— Ну, вроде как старморнак.

— Фигура...

— А ты думал. Сдаю экзамены. Сочинение написал на четверку. Вот не встать мне с этого места! Содержание, говорят, у вас подкачало, но вы абсолютно грамотны, удивительно. А я ж шифровальщиком два года промотался. Мне что рукой писать, что ногой, головой выстукаю, что ты! Физику проскочил сам не знаю как. Малость залил товарищу педагогу. «Вы фельдшер, конечно?» «Точно,— говорю,— морской фельдшер». «Я так и думал. Физика пока не для вас». И — трючку!

Как сдал, вызывает декан и говорит: «Есть тут мнение, чтобы вас назначить старостой курса. Будет у вас триста студентов, как думаете, справитесь!» «А чего ж, отвечаю, дело привычное. Вот пока и везу. А ты что ж, в речники пошел?.. В адунажи?

— Брось шутить. Адунская флотилия это тебе будь здоров служба.

— Пресняк.

Друзья схватились за руки и некоторое время возились то на полу, то на койке. Когда койка треснула, хозяин камбуза и гость некоторое время хватали ртом воздух, пока не отдышались.

— Ну ладно, Фомин, ты мне вот что скажи... Ты что к Валентине имеешь?

— К Лапиной? Да ты что! Я ж от души. Плакала она сегодня, так прямо всего выворачивало.

— Да ну?

— Декан к ней за череп пристал. Украл, понимаешь ли, у нее черепушку. Это нам для изучения дают. Понимаешь?

— Кто ж украл?

— Да разве найдешь. Я ж еще народ не знаю, а народ разный, городские больше. И вот, думаю, дай провожу женщину, все веселей будет.

— Нагорит ей?

— У нас строго. Такие кости, берцовую там или локтевую — ничего, не считаются, а вот насчет черепов строго, под номерами они.

Друзья помолчали.

— Есть тут место одно,— сказал Ашмарин,— я мимо как-то проезжал, видел.

— Давай, давай,— заинтересованно сказал Фомин.

— Далековато будет. Но часа за два обернемся. Кладбище старое.

— Ага.

— А там ложбинка, овражек такой, дождем промытый. Глубокий. И те могилки, что на край попали, вода как ножом срезала.

— Зарубили,— твердо сказал Фомин.— Мы это дело провернем и прямо к декану: так и так, помощь от флотских нашей медицине.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда-то старое кладбище считалось местом, далеким от центра города. Теперь же город охватил его кольцом. Здесь давно уже не хоронили, и служило оно не то небольшим парком, не то местом для игр городских мальчишек. Памятников на нем и раньше было немного, сейчас же они сохранились только возле кирпичных столбов, ранее поддерживавших ворота. Побитая камнями во время многочисленных мальчишеских сражений, стоя-

ла одиноко статуя, сжимающая в мраморной руке мраморный череп. На ее подножии была выбита надпись на немецком языке, сообщавшая, что череп в руке Гамлета молчит.

Фомин и Ашмарин, встреченные у входа принцем Гамлетом, долго стояли перед ним, силясь разобрать надпись. Это удалось Фомину не без труда и настроило друзей несколько философически.

— Вот так и наши черепашки когда-нибудь отронут,— сказал Ашмарин.

— Может быть,— задумчиво подхватил Фомин.— И знает ведь парень-то этот, что череп, а спрашивает.

— Интересуется... Оно, может, и череп, а все же глаза глядели, носом нюхал, человеком был.

— А парень видный,— одобрительно заметил Фомин, кивнув на принца датского.— И на кого он похож?

— На Митьку Калабушкина, вот на кого,— тотчас же ответил Ашмарин и, вскочив на пьедестал, нахлобучил на голову Гамлета свою мичманку.

— Ну, точно Митька! — обрадовался Фомин.— Знаешь чего, мы тут в воскресенье сфотографируемся! А чего? Нашим пошлем в дивизион. Ты понимаешь, что там будет? Да если наши ребята сейчас нас с тобой увидели бы, во бы рты пораскрывали!

Ашмарин и Фомин пришли в восторженное состояние духа, живо представив себе, как их фотография с каменным чудяком посередине, как две капли воды похожим на Митьку Калабушкина, пойдет в кубрике по рукам.

— А Петро скажет,— предположил Ашмарин,— ну, дывы?

— А точно, он так и скажет!

И вдруг позади них раздался негромкий женский голос:

— Я не сомневаюсь, что ваш Петро так именно и скажет, а сейчас снимите, пожалуйста, ваш голозной убор со статуи.

Ашмарин и Фомин медленно повернулись. На каменной скамеечке сидела седая женщина, держа на коленях потрепанную черную сумочку.

— Учительша,— шапнул Ашмарин Фомину и сдернул с головы статуи мичманку.

— А он кто? — вежливо осведомился Фомин, показав на статую.— Родственник вам?

— И мне тоже,— тихо сказала женщина, и в ее черных расколых глазах мелькнул маленький чертик.

— Всем, значит, родственник,— пояснил Фомину Ашмарин.— Вроде Адама, значит?

— Боже мой, но ведь это же принц Гамлет!

— Принц? — подозрительно переспросил Ашмарин. — Ах, принц, — протянул он. Будто понял что-то сомнительное, касающееся женщины на скамейке. — И каким царством-государством он заправлял, этот ваш принц?

— Датским государством, — охотно ответила женщина.

— А чего, датчане ничего ребята, — одобительно отозвался о подданных Гамлета Фомин.

— Видали мы и датчан и прочих разных шведов, — заметил Ашмарин. — Пришлось мне одному в Макао на пальцах кое-что разъяснять, — Ашмарин сжал кулак и потряс им перед носом у Фомина.

— Ну, это ты зря так, Ашмарин. Гитлер, вроде, тоже эту самую Данию захватывал, так я говорю? — спросил Фомин у «учительши».

— Послушайте, молодые люди, — сказала женщина. — Что вы мелаете? Неужели вы никогда не слышали о драме «Гамлет», о Шекспире?

— Слышали, — живо отозвался Фомин. — Шекспир, Шекспир... Ах, так он у нас в учебнике мелким шрифтом был напечатан.

— Ну и что из того, что мелким? — «учительша» пожалла плечами. — Это величайший поэт, величайший драматург.

— А нам, кто в плавсоставе, мелкий шрифт простили, — пояснил Фомин. — Вот стишок там был, так его я выучил, это он так начинался: «Быть... Быть...» Забыл...

— Быть или не быть, такое вопрос, — подхватила «учительша». — Что благородней духом — покоряться прашам и стрелам яростной судьбы, иль, ополчась на море смут, сразить их противоборством? Умереть, уснуть — и только; и сказать, что сном кончаешь тоску и тысячу природных мук... Как такой развязки не жаждать? Умереть, уснуть. — Уснуть? И видеть сны, быть может?

— Здорово складено, — восхитился Ашмарин. — Мы тут с другом тоже, как посмотрели на принца, так тоже про это же говорили. Правда, Фомин?

— Оно жаль, конечно, да по науке так выходит, что как умер, так и конец, — ответил Фомин в раздумье. — Вот вы, допустим, женщина, так вам трудней понять. А вот мне приходилось воевать. Посмотришь иной раз на побитых, а я их видал штабелями сложенными, так в голову и ударит: а почему это я жив? Чудно даже делается. Вчера, можно сказать, из одного котелка вот с этим заправлялись, а сегодня он лежит, будто и не он. А каша, небось, в животе еще не остыла. Что он, у бога теля съел? Такой же парень, как и я, даже лучше, красивее, образованнее.

— Смелого пуля боится, смелого штык не берет,— высказал свою точку зрения Ашмарин.

— По-моему, это все мысли вредные. Живи, выполняй предписания, и лады. А начнешь думать, так никакого толку. Я вот тоже, как увижу, бывало, что задумался кто, так погоняю крепенько, смотришь, вроде, повеселел парень.

— Ты это умел,— сказал Ашмарин.— Не зря тебя на флоте Погонялой называли.

— Да, видно, вам Шекспир не нужен,— сказала женщина.

— Это почему же? — строго спросил Фомин.— Время придет, и до Шекспира доберемся.

— Я совсем в другом смысле. В обратном смысле. В том самом «стишке», который вы учили, ведь там есть слова: «Так трусами нас делает раздумье и так решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледной...»

— Так трусами нас делает... раздумье,— пораженно повторил Фомин.— Вот уж верно так верно. А я что говорил?

— Ладно, пошли,— тронул Ашмарин Фомина за плечо.— А то еще раздумашешь.

— А вы что, кладоискательством занимаетесь? — спросила женщина, заметив ручку лопаты, выглядывающую из мешка.— Тогда вам спешить нечего.

Фомин и Ашмарин удивленно уставились на нее.

— Это через почему? — спросил Ашмарин.

— Клады в полночь открываются,— серьезно сказала женщина.

— Ну, наш клад от нас не уйдет,— махнул рукой Ашмарин и, увлекая за собой Фомина, скрылся за памятником, теперь уже ярко освещенным уличным фонарем.

«Учительша» оглянулась. Вокруг никого не было. Одиная сирень позади скамейки отбрасывала густую тень. Ярко освещенный, будто свет шел изнутри, выглядывал из кустов принц датский и его рука с черепом. И вдруг, прямо над ухом «учительши» раздался сплюснутый мужской голос:

— Ту би, ор нот ту би... Вот в чем вопрос?

Ирина Ильинична резко обернулась. За ее спиной, вынырнув откуда-то из кустов сирени, стоял скрюченный человек. Лицо его было в тени, но худшие подозрения Ирины Ильиничны подтвердились. Это был тот самый человек со знакомыми ей глазами.

— Не позволите ли присесть рядышком? — спросил он, цепко взяв женщину за локоть.— ...Ведь мы знакомы, и давно знакомы, сударыня.

Ирина Ильинична крепко сжала в руках сумочку. «Бежать, бежать, это все, это конец!» — пронеслось в голове.

— Да не извольте беспокоиться,— продолжал Ганюшкин.— Я вас на обиду. Это вы меня обижаете. И не смотрите так удивленно. Явиться на свидание к мужчине вооруженной, да за кого вы меня принимаете! А хинжальчик-то музейный, государственная собственность,— продолжал он медленно, вынимая из судорожно сжатых рук Ирины Ильиничны сумочку.—Хоть и расписочку оставили, а нехорошо, не ожидал.

Ганюшкин коротко рванул сумочку из рук Ирины Ильиничны и нарочито медленно положил ее рядом с собой на скамейку.

— Мы ведь с вами, Ирина Ильинична, не просто знакомы, не просто. С супругом вашим, Василием Алексеевичем, не один день говорили. Незабываемые часы, могу сказать, провел. Хвалить не буду, видывал я и покрепче, но слаб человек пред испытаниями судьбы, слаб. Вот и я здесь с вами по той же причине.

— Отпустите меня,— сказала Ирина Ильинична. Ужас, сковзавший ее в первое мгновение, постепенно ослабевал. Теперь он только был где-то в кончиках пальцев, все еще сжатых в кулаки.

— Отпустить? — серьезно спросил Ганюшкин.— Отпущу. Только дайте поговорить. Впервые за много-много лет. Ведь я все в дурачка играл. Кому пистолетик, кому аппаратик, кому болтик выточить — все ко мне. Перед друзьями ближайшими молчал. Годы молчал. Да и какие они мне друзья? Мне? Ах, Прокофий Иванович, да как это ты объективчик выточил, да как это ты пистолетик починил, преотлично! А я стажировался у Виккерса, у Крулла, мне сам Захаров руку жал! В Лондоне я слушал величайших артистов, и «быть или не быть» для меня звучит в ушах на языке Шекспира. Да лучше казнь, казнь, чем годы молчания, сплошного актерства, когда проснешься и думаешь: Кто ты? Человек, рожденный для радости своим ближним, или презренный раб вчерашних рабов и хамов? Еще вчера от одного моего взгляда зависела жизнь многих, а сегодня — тансь, молчи, играй свою треклятую роль...

— Но живи,— вдруг сказала Ирина Ильинична.

— Да, живи! Живи, человек, пока живется. Я ведь и сейчас, Ирина Ильинична, могу расправиться с половинкой кабанчика, есть здоровье, есть. А сколько моих надругов там,— Ганюшкин указал рукой на подножье статуи.— Вот и сейчас... как мне хотелось поговорить с вами! Вы интеллигентная женщина, в другое время при других порядках я бы вам ручку целовал, сколько слов, сколько мыслей, а привык к другой шкуре. Привык... Не мои это руки, не мои...—тут Ганюшкин потряс своими руками перед лицом Ирины Ильиничны, и она, воспользовавшись секундой свободы, вскочила

на ноги. Ганюшкин с необыкновенным проворством вновь поймал ее за локоть и вернул на скамью.

— Ах, Ирина Ильинична, ну зачем вы стремитесь меня покинуть? Зачем? Да, я сейчас смешон, неприятен, но завтра, быть может, я приду сюда совсем другим.

— На белом коне въедете, ваше благородие?

— Может быть, а почему бы и нет? Вот у вас все страдальцы перед глазами, карточки перебирали с неким унтером, я ведь знаю, я все знаю... Есть у меня одна вещьца, драгоценнейшая вещьца, Ирина Ильинична. Чудо-зеркальце русской сказки — забавушка, не больше... Так мои страдания не на карточке, они здесь, внутри. Сколько нужно было мне перенести, выболеть, выстрадать, чтобы дожидаться красного дня. Разумеется, красного в противоположном смысле, чем вы употребляете это слово.

Ирина Ильинична заинтересованно повернула голову.

— О, теперь вы никуда не уйдете, теперь вы меня не покинете! Заинтересовались... Что ж, любопытство погубило вашу прародительницу, и вам оно впрок не пойдет, Ирина Ильинична. Но вы молодец! Вы и такие, как я. Уважаю, приятно это вам слышать или нет, уважаю.

— Приятно,— с вызовом сказала Ирина Ильинична.

— Если бы те, кто именовал себя священным воинством, опорой отечества, патриотами России, если бы они были хоть в тысячную долю так серьезны, так преданы делу, как ваши друзья!

— Вы и сейчас серьезный противник,— заметила Ирина Ильинична.

— Благодарю. Но я — один. А где все те, кто в трудную минуту спасал свои сундуки, кто пьянствовал без просыпу, кто рылся в барахле расстрелянных, кто променял первородство и честь спасителя отечества на чечевичную похлебку из большевистского котла? Я был всегда другим. Да, был другим. Меня поразили когда-то слова: «Я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек». Это было верно, это была истина, истина моя и горстки таких, как я. Ваши друзья расстреляли автора этих строк, но, вспоминая те кисельные души, из-за которых все погибло, я и сегодня злюсь, я и сегодня тот самый металлический идол, идол кованый, мятый, битый, катаный, но живой и с живой надеждой. Послушайте, Ирина Ильинична, я сообщу вам благую весть... Быть может, вас коробит мой вычурный тон, но поверьте, если намой впервые в жизни заговорит, то и его речь не будет звучать естественно. Я могу вам рассказать сегодня все, всю жизнь, ваша скромность для меня вне всяких сомнений, как всех, кто обитает здесь, под землей...

Мы расстались с вами давно. Я бежал в Зербин в том же броневике, в котором был сам атаман, это ничтожество, вообразившее, что когда в руке плетка, то ума не надо. Не буду говорить, что встретило меня там, на чужбине. Кто успел наворовать, живо указали нам, заслуженному офицерству, что существует такая неприятная вещь, как бедность. Я опустился. Мне не хотелось идти ни телохранителем к какому-нибудь местному генералу, ни в услужение к японцам, хотя, поверьте, в выгоднейших предложениях не было недостатка.

И вот как-то ко мне явился монах, грязный и вонючий лама или что-то вроде, ободранный, нищий. У него была на голове странная шапка, черная и высокая, как цилиндр. Он был забавен, этот монах... Но я почувствовал: вот она, удача. И не колеблясь, согласился на все, как пошел бы править службу огнем и мечом его императорскому величеству или его сыну, если бы ваши большевики сохранили августейшую семью. Он предложил мне вернуться. Вернуться, чтобы отыскать в глубине лесов нечто драгоценное. Я получил аванс. Но не подумайте, что я продался. О нет, другое, другое привлекло меня.

То, зачем я шел сюда, было несравненно важнее любых драгоценностей... Я пошел, я дошел туда, куда, казалось бы, никто не был в состоянии дойти, но волей обстоятельств из охотника я превратился в дичь и был пойман, и пудовой цепью прикован к железной болванке. Этакой дуре на десять пудов. И потекли годы, годы рабства.

— Как, здесь, у нас? — не выдержала Ирина Ильинична.

— Да, да, здесь... То, за чем я пошел, было рядом, но я севял рожь, перетаскивая за собой эту трижды проклятую болванку, колал картофель, рубил дрова. Вот у меня на ноге, — Ганюшкин задрал левой рукой штанину и, вывернув руку Ирины Ильиничны, заставил ее посмотреть на темный след над краем башмака.

Как ни была увлечена рассказом Ирина Ильинична, но именно в этот момент она поняла до конца: истакуют последние секунды. Выбросив вперед руку, она закричала:

— Спасите, на помощь! Спасите!

Но Ганюшкин молниеносным движением схватил ее за лицо, вобрав его в пропахшую машинным маслом ладонь, и заставил замолчать.

— Зачем вы поспешили, Ирина Ильинична? Прервать такой рассказ и в таком интересном месте? Да кто придет? Кто? Патруль тут не проезжает, случайный прохожий обойдет это место за квартал. Успокойтесь, не ускоряйте событий, и вы услышите о таких вещах, после которых будет легко умирать. Ваше дело проиграно...

Но здесь Ирина Ильинична услышала чей-то другой голос.

— У, гад! — сказал этот голос. И Ирина Ильинична, теряя сознание, поняла: это подоспели те самые моряки, которых она приняла за кладоискателей.

Фомин со всего размаху хватил Ганюшкина по голове. Ашмарин, бежавший позади, перепрыгнул через надгробную плиту и в растерянности так хлестнул матросской пряжкой по спине Фомина, что у того дух захватило. А вокруг была ночь и тихо шумела листва. Фонарь светил ярко, чуть покачиваясь на ветру, над головой принца всходила полная луна. Ирине Ильиничне даже показалось, что и луна чуть-чуть покачивается от ветра. Это было последнее мгновение растерянности. Обогнув каменную скамейку, Ирина Ильинична схватила свою сумочку и попыталась хладнокровно разобраться в ситуации. Вот Ганюшкин как-то по-собачьи тьякнул, саданул носком башмака в голень Ашмарина, и тот запрыгал на одной ноге, зажмурившись от боли. Вот уже и Фомин схватился за лицо: в приземистый противник, вспрыгнув на скамейку, обрушил на его нос страшный удар. Время шло, и наши моряки поняли, что перед ними не просто хулиган, запугать которого не составит труда, а враг опасный. Значит, живыми им не уйти с этого старого кладбища, если немедленно не развернуть более серьезных действий. Но и противник не дремал. Изловив Ашмарина левой рукой за ворот, он, отбиваясь остальными тремя конечностями, методически постукивал лбом несчастного парня о каменную скамью, приговаривая:

— Это тебе, ангел мой! Это тебе, ангел мой!

Вот уже он, оставив Ашмарина, схватился с Фоминым один на один и, приподняв его за пояс, двинулся вместе с ним к статуе, и Фомину пришлось бы совсем плохо, если бы вдруг Ирина Ильинична не атаковала Ганюшкина сзади. Став на цыпочки, Ирина Ильинична хлопнула Ганюшкина своей сумочкой. Сумочка тотчас же раскрылась, сверкнув холодной молнией в свете фонаря, из нее выпал кинжал и воткнулся в песок прямо под черепом, который держал в своей руке Гамлет.

Ганюшкин круто обернулся, оставив на мгновение Фомина: ему, видимо, показалось, что нападение с тыла произвел его второй противник, но этого было достаточно, Фомин нанес ему ногой такой удар чуть пониже пояса, что Ганюшкин, оторвавшись от земли и пролетев некоторое расстояние по воздуху, шмякнулся на скамью. К сожалению, удар был значительно смягчен наличием на скамье Ашмарина, и бой вновь закипел с прежней силой. Но вот Ганюшкин заметил воткнувшийся в землю японский клинок и метнулся к нему, чиркнув рукой по земле. Еще секунда, и в его распо-

ряжении оказалось бы опасное оружие, но Фомин в один прыжок был рядом, мгновение — и его нога прижала кисть Ганюшкина к земле, кисть, из которой уже выглядывала рукоятка кинжала. И тут раздался чей-то задорный голос:

— Что за шум, а драки нет?

Драки действительно уже не было. Ашмарин, стоя на коленях и положив голову на скамью, казалось, спал. Ирина Ильинична сидела рядом в спокойной позе. Ганюшкин лежал на земле каким-то странным свертком, напоминающим не то плохо упакованную коровью тушу, не то вывороченный старый пень. А между столбами, когда-то поддерживавшими кладбищенские ворота, на светлых кобылах сидели два молодых парня в зеленых фуражках. Это был случайно проезжавший мимо патруль.

Теперь события должны были пойти в давно ожидаемом направлении, но Ганюшкин пришел в себя первым. Клубком свернувшись вокруг ноги Фомина, он с такой яростью впился в нее зубами, что Фомин заорал не своим голосом и попытался освободить ногу. В следующее мгновение Ганюшкин ринулся через кусты напролом и сразу же исчез из виду. Некоторое время можно было различить его хрипящее дыхание да шум и треск веток.

Фомин бросился следом, но пограничник ослабил повод и уница-лошадка преградила ему дорогу.

— Документики, браток,— сказал пограничник, придерживая Фомина за плечо.— Документики...

Пограничник пристал на стремянах и вежливо улыбнулся. Лошадь тоже потянулась мордой к Фомину и задрала верхнюю губу.

— Ловить его надо, ловить,— заговорил Фомин.— Вон он женщину как! А мы его давай тут песочить...

— Не знаю, как вы его, а что он вас песочил, это мы видели. Еще раз попрошу документики.

В это время второй из пограничников спешил и подошел к скамье, держа лошадь на поводу.

— Эге, а это наш! — воскликнул он, приподняв голову Ашмарина за волосы.— Ашмарин, вроде? Ну да, из флотилии.

— Ашмарин? — заинтересованно переспросил пограничник на лошади.— А ну, давай округовую!

Пограничники ускакали, надеясь перехватить беглеца у края кладбища. Фомин подошел к Ашмарину, тот уже пришел в себя и сейчас сидел на скамье, делая такое движение головой, будто хотел что-то с нее стряхнуть. Ирина Ильинична отошла в сторону, откуда доносилось шипенье просачивающейся воды. Молча вернулась, протянула Ашмарину мокрый платок.

— Вытрите лицо... И виски.

Даже сейчас было видно, что на левый глаз Ашмарина начала наплывать опухоль.

— Берите платок,— сказала Ирина Ильинична Фомину,— Там есть вода, приведите себя в порядок.

— Есть,— охотно ответил Фомин и, шатаясь, ползая к водопроводной трубе в кустах. Вернулся он посажевшим, даже причесанным. Смущенно скомкал платок, протянул Ирине Ильиничне.

— В крови он только, вы уж простите...

— Простить? Да если бы не вы, так меня уже на свете не было бы,— сказала Ирина Ильинична.

— А он кто, муж вам будет? — осторожно спросил Фомин, присаживаясь рядом.

— Муж? — удивилась Ирина Ильинична.— Почему это вы подумали?

— А чего же это он так? Я думал, возмужавал вас к кому.

Ирина Ильинична рассмеялась каким-то кашляющим смехом.

— Старая я дура,— сказала она неожиданно.— Почувствовала неладное, а все равно пошла. Если бы не вы, если бы не вы...

— А мы тоже сплеховали,— виновато сказал Фомин,— И кто его знал, что он такой зверюга. А будто знакомый, будто видел я его где...

— Вы молодцы, ребята. Я так за вас боялась, так боялась. Он же вас мог тут... А что я одна?

— Нет, вы тоже, тоже... Как это вы его сумочкой, геройская вы женщина.

— Вот так мы друг друга хвалим, а ведь он убежал.

— Поймают.

— Надеюсь, но бед он еще натворит.

Через несколько минут вернулись пограничники.

— Ушел,— сказал один из них, спрыгивая с коня.— На лодке ушел...

— На какой лодке? — Фомин даже рот раскрыл от удивления.

— А тут как раз под бугром Черемшанка, он сразу в лодочку, мотор завел и тата-та-та и ушел.

— Все подготовил,— тихо сказала Ирина Ильинична.

— Ну, вот что, граждане хорошие,— сказал пограничник.— Давайте собирайтесь и потихонечку, полегонечку проедем с нами. Все и расскажете. Да, а мешочек чай же? — спросил он, подняв мешок, брошенный во время драки.

— Мой,— сказал Ашмарин.

— Чего это в нем стукотит? — заинтересованно спросил пограничник и перевернул мешок. С деревянным звуком выкатились на песок человеческие черепа. Пограничник строго сказал:

— Ага! Собирайтесь, граждане хорошие.

Но на этот раз «граждане хорошие» прозвучало совсем по-другому.

Они шли прямо посередине вымощенной булыжником улочки, спускавшейся круто вниз. Фомин шел прихрамывая, держа под локоть понуро шагавшего Ашмарина. За ними семенила Ирина Ильинична, держа в руках мешок с черепами. Почему-то именно ей была доверена эта функция. Один из пограничников шел рядом, держа лошадь на поводу. Второй то звезжал вперед, то возвращался назад, осуществляя полную разведку местности. Шли молча. Уличные фонари уже окончились, но успевшая подняться луна ярко освещала эту странную группу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Ирину Ильиничну и наших флотских товарищей доставили в то же самое отделение погранслужбы, в котором мы уже побывали воскресным утром. Старший из пограничников выложил на стол дежурного японский кинжал и два черепа, обнаружив при этом прирожденное чувство композиции. Знакомый уже нам майор Старостин даже руками развел.

— Не улики, а прямо задачник по криминалистике! — воскликнул он.

— Разрешите доложить по порядку? — обратился к нему сержант-пограничник. — В двадцать один ноль ноль мы с Григорьевым возвращались из дежурного патрулирования по городу.

— Рано возвращались! — вскрикнул майор.

— Дежурные мы сегодня по конюшне, — пояснил сержант. — Проезжаем мимо старого кладбища, а оттуда — крик. Никак, говорю, женщина кричит. А Григорьев говорит: «Точно». Ну, мы наметом и въехали. Видим, бой идет, товарищ майор. По всей форме бой. Фонарь с улицы яркий, все видать. Вот этот товарищ, гражданский моряк, сцепился с таким... не понять с кем сцепился, товарищ майор. Сам низенький, руки до полу, прыгает бочком, — сержант очень похоже показал, как прыгал Гамюшжин, уходя от Фомина. — Обезьяна не обезьяна. Мы было за ним. А тут, смотрим, на скамейке еще один моряк лежит, совсем без чувств, а рядом женщина сидит, чуть жива. Непонятно, товарищ майор, что делать... Тут глянь — кинжал на песке. «Чей, спрашиваю, кинжал? — А вот эта гражданка говорит: «Мой». А тут Григорьев мешок тряхнул, а в нем черепов видимо-невидимо. Эге...

— Э-ге-ге,— поправил его серьезно Старостин.

— Ну да, э-ге-ге, я и говорю. И все ж-таки мы хотели того поймать, второго, обезьяну. Доскакали до речки Черемшанки, а он уже на моторке наворачивает. Ну, тогда мы этих и привели.

— Ирина Ильинична,— обратился Старостин к Шафаровой.— Мы обо всем побеседуем завтра. Не удивляйтесь, что я вас знаю, я ваши лекции слушал в партийной школе.

— Старостин?

— Совершенно точно, Старостин. А тут Федор Никанорович поднял на ноги весь город. К нему старик этот пришел, как его...

— Илларион Карпыч?

— Правильно, Карпыч, все рассказал, у нас тут полный был переполох, но куда вы пошли, никто не знал. Завтра обо всем по-толкуем... Старостин помолчал и, глядя исподлобья, спросил:

— Это Генюшкин был?

— Вы удивлены, что я жива?

— Признаться, да.

— Это они,— Ирина Ильинична показала на Фомина с Ашмариним. Если б не они... И на мое счастье, ему захотелось на прощанье пофилософствовать.

— Да, да, это похоже на штабс-капитана. Он, говорят, с философией и на тот свет отправлял. Федор Никанорович именно так его характеризовал.

Старостин встал и поблагодарил пограничников за службу.

— Поймать бы этого типа следовало,— добавил он.

— Виноваты, товарищ майор,— ответил сержант.— Да уж больно быстрый.

— А виноваты, так проводите женщину домой в пешем порядке.

Когда Ирина Ильинична и сопровождающие ее пограничники вышли, майор подошел к Фомину и Ашмарину и сказал:

— Так вот, дружки, благодарность благодарностью, а объясните-ка мне, пожалуйста,— майор взял один из черепов,— что сей сон значит?

— Медицине мы помощь оказать хотели, так сказать, от флотских товарищей.

— Это дело нехорошо пахнет,— сказал Старостин,— кладбище, конечно, скоро снесут совсем, так что пока я не вижу ничего по служебной линии, а не окажись вы на месте, пожалуй, Ирине Ильиничне несдобровать... Как думаете?

— Где уж там,— сказал Фомин и, поставив ногу на табуретку, приподнял штанину. Нога была залита кровью, а прямо на голени кровь застыла подковой.

— Чем это? — с интересом спросил Старостин.

— Зубами, товарищ майор.

Старостин покачал головой. Он понял, что Фомин показывает рану вовсе не для того, чтобы вызвать сочувствие.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Федор Никанорович вошел в музей и сразу же увидел Ирину Ильиничну, занятую разговором с высоким юношей в буром свитере, с большой папкой. Судя по художественному беспорядку, царившему в прическе парня, это был представитель мира искусства.

— Вы ко мне, Федор Никанорович? — спросила Ирина Ильинична.

— Да, к вам... Не проводите ли вы меня туда, где у вас выставлены старинные ружья?

Перед дубовой стойкой со старинными кремневыми ружьями Федор Никанорович стоял долго, внимательно их рассматривая.

— Это все солдатские ружья... А меня интересуют охотничьи.

— У нас есть одно, вон, в руках у охотника.

За стеклом диарамы на ватном снегу, усыпанном блестками, лежал человек в меховой одежде. Он старательно целился в чучело оленя из какого-то длинного ружья на косо срезанных сошниках. «Так охотились в старину» — гласила подпись под диарамой. На потемневшем от времени ложе ружья белел жетончик инвентарного номера.

— Если к вам поступает какая-нибудь вещь, какая-нибудь находка, вы записываете, при каких обстоятельствах она обнаружена? Вот, к примеру, откуда у вас это ружье?

В своем кабинете Ирина Ильинична быстро разыскала нужную запись.

— Вот, можете прочесть. Семнадцатого ноября сорок первого года получены от военкома Шебунина ружья старинные, тульской работы, ориентировочно изготовлено в конце XVIII столетия, сошник самодельный кованый и паспорт, смотреть описание рукописей за номером...

Ирина Ильинична достала другую книгу и, найдя в ней что-то, сказала:

— Да, и паспорт есть.

Ирина Ильинична вышла и долго не возвращалась, а Федор Никанорович старательно списал в записную книжку то место из инвентарной описи.

— Вот паспорт,— сказала Ирина Ильинична, протягивая какой-то старинный документ, свернутый трубкой.

Федор Никанорович осторожно развернул его. Яркими, ничуть не поблекшими чернилами по рыхлой ворсистой поверхности темно-коричневой бумаги было написано:

«ПАЧПОРТ». Дан сей пачпорт из града Вышнего, из полиции Сионской, из квартала Голгофского отроку Афанасию сыну Петрову. И дан сей пачпорт на один век, а явлен сей пачпорт в части святых и в книгу животну под номером будущего века записан».

— Разобрали?

— Разобрал, но ничего не понял,— Федор Никанорович еще раз перечел текст: «пачпорт». С виду ерунда, а чувствуется, что писалось всерьез...

— Это бегунский паспорт,— сказала Ирина Ильинична, бережно вынув трубочку документа из рук Федора Никаноровича.— Бегунский,— повторила она.— Большая редкость.

— Как так? — не понял Федор Никанорович.— Афанасий сын Петров... Да, так и есть, Афанасий Петрович.

— Вы его знаете? — удивилась, в свою очередь, Ирина Ильинична.

— Знаю, это совсем еще молодой человек. И вдруг — полиция Сионская, квартал Голгофский...

— Ну, что ж, паспорт сочинен в начале прошлого века, а выдан недавно,— Ирина Ильинична будто рассуждала сама с собой.— И ценность этого документа только возрастает. Вы, вероятно, слышали, Федор Никанорович, что крестьяне, став крепостными, долго не могли свыкнуться со своим новым положением, что они...

— Восставали, разумеется,— послушал закончить мысль Федор Никанорович, но Ирина Ильинична покачала головой.

— Восстание крестьян — это, так сказать, коллективная форма выражения недовольства. Была и индивидуальная. Они убегали от помещика. Становились беглыми. Их ловили, наказывали, а они снова убегали. Но ловили не всех. Вот в то время и зародилась тайная организация, бегунская, как ее позже назвали. Сильная, прочная, жизнеспособная. Состояла она из пристанодержателей и проводников. Попадает беглый крестьянин в бегунскую пристань, и поймать его становится почти невозможным делом.

— Я не совсем понимаю, что представляла собой «пристань», она что, на реке какой-нибудь была?

— Нет, не обязательно. Это просто дом вдали от широких дорог, где беглый мог надеяться на помощь. Там и покормят, там и переоденут, и проводника дадут, и расскажут, как идти, с кем идти, а главное — куда.

— Так за таким домом не трудно...

— Установить наблюдение? — улыбнулась Ирина Ильинична, разгадав профессиональное возражение, сразу же возникшее в голове собеседника. Можно... Но оно ничего не дало бы. Ни один беглый через порог дома не переступал. Как правило, пристань была связана с ближайшими лесами сетью подземных ходов, и при малейшей опасности в доме оказывались только хозяева пристани. Все остальные уходили по тем же ходам на волю.

— Но это все, конечно, была капля в море. Вряд ли таких пристаней было много.

— Немного, но были. В Ярославской губернии — свыше пяти-сот. И это только по данным полиции. В самой Москве было обнаружено около дюжины пристаней. И шли они целью до Урала и до Астрахани... И некоторые пути вали в Сибирь.

— Значит, этот паспорт...

— Бегунский паспорт. Его писали в издевку над официальным царским паспортом. Но для бегунских пристанодержателей он был вполне достаточным удостоверением личности.

— Прямо настоящие подпольщики, — восхищенно сказал Федор Никанорович. — Тут тебе и явочные квартиры и транспортные пути.

— А вы как думали, Федор Никанорович? Вы что, думали, что только угнетение имеет традиции? Сопротивление раба, сопротивление угнетенного своему угнетателю насчитывает ровно столько же тысячелетий, сколько существует классовое общество. Не на пустом месте рождалась система конспирации, очень хорошо вам знакомая.

— Да и вам, Ирина Ильинична, — заметил Федор Никанорович. — Но меня сейчас интересуют другие. От всего, что вы рассказали, исходит запах столетий. Как же мог наш паренек рождения так двадцать пятого, двадцать шестого года явиться в военкомат с бегунским паспортом?

— Да, это серьезное возражение. Но мы ведь знаем, что в тайге почти каждый год открываются поселки, о которых никто не знал. Да и жители этих поселков десятилетиями не общались с внешним миром. Ведь так? Почему же не предположить, что ваш, как его, Афанасий сын Петров, не вышел из такого вот села, вооруженный музейным ружьем и снабженный бегунским паспортом. Вообще, если бы удалось побывать в таком месте, какая это была бы находка для историка! Сколько интересного и в быту и в общем укладе жизни! А песни, вы представляете, Федор Никанорович, какие там поются песни?

— Нет, но я представляю другие. Может быть, в таком забро-

шенном селе властвует чья-нибудь жестокая воля, ничего общего не имеющая с сегодняшним днем. И тогда, попади вы или кто другой в такое село, вряд ли его выпустят оттуда? Думаю, что не выпустили бы...

— Да,— тихо сказала Ирина Ильинична.

— Если не убьют, так на цепь посадят,— обронил Федор Никанорович.

— Теперь я поняла.— Ирина Ильинична поднялась со стула и сжала руки.— Поняла... Ганюшкин, он был там, был у них. Он мне говорил про какую-то болванку, которую он таскал за собой, показывая рубец на ноге. Это была цепь. Он был там.

— Да, был,— подтвердил Федор Никанорович.— Был. Но где? Где эта святая обитель?

— А ваш Афанасий сын Петров, как он значится в этом паспорте, он же жив? Почему он не расскажет?

— Афанасий Петрович жив, это верно. Но ему пришлось пережить такое, что выпадает на долю немногим. И вот день за днем, месяц за месяцем его здоровье стало ухудшаться. Он продолжает работать, но через силу. Говорить с ним трудно... У меня возникла мысль, Ирина Ильинична, что, если мы покажем Афанасию Петровичу его ружье, этот его паспорт? Вы понимаете? Если пойти от вещи, от чего-то очень осязаемого? Может быть, к нему вернется хотя бы желание вспомнить?

— Да, разумеется. Как только будет вам нужно, я сейчас же передам вам все. Но, Федор Никанорович, если не секрет, эти переживания Афанасия Петровича, о которых вы говорите, в чем заключались?

— Ганюшкин,— коротко сказал Федор Никанорович и встал из-за стола, собираясь уходить.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

На след Ганюшкина напали совершенно неожиданно. Както в выходной день Чернышов решил показать Юрию Васильевичу изобилующее рыбой место. День был весенний, но прохладный, и по дороге встречались пятна еще не стаявшего снега. На обратном пути, проезжая через Княжью Заводь, они вдруг увидели невдалеке от разрушенной церковки машину, нагруженную самолетными крыльями, грубо обрубленными топором. На сложенных горкой черных от весенней влаги бревнах сидели солдаты и лениво покуривали самокрутки.

Федор Никанорович велел остановиться.

— Спроси, не нужно ли чего,— попросил он шофера.

— Мотор барахлит? — спросил шофер, приоткрыв дверь.

— Нет,— коротко ответил солдат.

— Наш дядя Зайцев молодайку подцепил,— пояснил другой.

И тут из домика рядом с церковью вышел Зайцев в сопровождении какого-то существа, завернутого в белую шаль.

— Два крыла сгружай! — скомандовал Зайцев и слегка пошатнулся.— По сотеиной на брата бабка дает. Давай, давай, ребята!

— И куда ей столько? — спросил молоденький солдат с рюмлянцем во всю щеку.— Что она, самолет строить будет?

— А тебе какое дело? — накинулся на солдата Зайцев.— Что, утильщик больше даст?

Шофер хотел тронуть машину с места, но Федор Никанорович удержал:

— Погоди, Костя.

Розовощекий солдат встал на колесо грузовика и перемахнул через борт.

— Принимай, бабка! — крикнул он, поднимая крыло.— Будешь к сердечному дружку на аэроплане летать.

— Вот сказал, вот сказал! — тоненько рассмеялась старуха.— Сарай я ими покрою. Два крыла как раз хватят.

— Ты, бабка, свистишь чего-то,— продолжал балагурить солдат.— Небось, каждую ночь на помеле летаешь? Ты уже лучше признайся.

— А ты осторожней с крылышком-то,— по-хозяйски прикрикнула бабка.— Поцарапаешь еще...

— Трогай,— сказал Федор Никанорович, и машина, пласнув грязью на ноги Зайцеву, тронулась с места. Зайцев испуганно отшатнулся и чуть не упал, но не выдали черные валенки, устоял на ногах.

— Любопытная бабка,— сказал Юрий Васильевич.

— Еще бы,— откликнулся шофер.— Петровна это... Я к ней всех теток своих перевозил. Лечит она от всех болезней и на картах гадает. И здорово гадает, чертовка!

— А тебе что нагадала? — спросил Федор Никанорович.

— Дальнюю дорогу и печаль через удовольствие,— ответил Костя, смеясь, и прибавил скорость.

«Лодку Ганюшкин делает, подумал Юрий Васильевич.— Алюминиевую лодку. Там он, там у бабки этой...»

Федор Никанорович повернулся к Юрию Васильевичу и спросил:

— Как думаешь, меня Зайцев не заметил?

— Зайцев-то? — рассмеялся Костя. — Да ему, видно, уже бабка поднесла...

— Нет, вряд ли заметил, — сказал Юрий Васильевич.

Но Зайцев заметил. Назавтра он разыскал Федора Никаноровича и слезно просил никому не говорить о его проделках с самолетными крыльями.

— Человеку-то надо заработать? Скажи, Федор Никанорович, по совести скажи...

— Кто тебя надумил, Аполлон Митрофанович, за крыльями поехать?

— Так кто ж ту кормушку не знает! Я уж с год балуюсь. Еще когда трофейные самолеты японские были там навалены. Но скажу тебе, Федор Никанорович, выгода с тех самолетов просто никакая. Одно дерево, право дело, одно дерево.

— А бабку Петровну где ты разыскал?

— А это как мы ехали мимо Княжьей Заводи, так она прямо на дороге стояла. «Вы, говорит, по самолетикки!» — «По самолетники, бабка». — «Так мне крылышков не привезете сарай покрыть?» — «Чего же не привезти? Привезем...» А что, Федор Никанорович, дело какое?

— Нет, пустое...

— Ну да, у тебя да и пустое? Расскажи кому-нибудь другому. — И Зайцев побрел к выходу.

— Что вы делаете, Федор Никанорович? — воскликнул случайно присутствовавший при разговоре Юрий Васильевич. — А может быть, Зайцев знает, что Ганюшкин у Петровны скрывается? Даже наверняка знает.

— Нет, — спокойно возразил Федор Никанорович. — Ганюшкин Зайцеву не доверится. Да и я ждать не намерен. Думаю, что товарищи меня поддержат. Через час мы будем на месте.

Четыре машины уже мчались по шоссе к Княжьей Заводи. Им оставалось проехать километра три, как вдруг Федор Никанорович, сидевший рядом с шофером, наклонился к стеклу и сказал громко:

— Опоздали...

Над Княжьей Заводью поднимался густой столб дыма. Когда въехали в деревушку, дом бабки Петровны был уже объят пламенем.

Только к утру удалось погасить то, что было когда-то жилищем. Федор Никанорович долго бродил по обугленным бревнам, на которых все еще шипела и пузырилась вода. Дом покинут и по-

дожжен — таково было первое впечатление. Начальник вызванной из города пожарной команды старательно осматривал оставшиеся балки, все время к чему-то прищупывался.

— Керосин? — спросил его Федор Никанорович.

— Пожалуй, нет, — ответил пожарник. — Больше на авиационный бензин похоже... — И вдруг, выбросив руки, бесшумно скатился куда-то вниз. Сбежавшиеся пожарники выломали пол.

— Товарищ Чернышов, — позвал один из них. — Идите сюда.

Федор Никанорович спустился в подвал. Свет проникал сквозь щели в громадных валунах, на которые опирался венец дома. Свет был странно матовый: крыло самолета было почти целиком втащено в глубь дома, наружу торчал только его край. По крылу-то и съехал в подвал пожарник. Здесь была мастерская. Вокруг валялись инструменты, разный металлический хлам. На специальной стойке — автомобильный мотор: на оси уже укреплен бронзовый винт, лопасти которого были грубо обрублены и носили следы ручной обработки напильником. Тут же лежало и второе крыло, уже размеченное и частично распиленное. Контуры распила говорили о том, что собираемая в подвале лодка должна была иметь значительные размеры. В стороне стояли бачки, снятые с самолетов, возвышалась горка промасленных банок с консервами. Все подтверждало, что Ганюшкин готовился к серьезной экспедиции.

Федор Никанорович отодвинул разрезанное крыло от стены. За ним лежал комок какого-то тряпья.

— Ну-ка, посвети, — попросил он пожарника.

Пожарник равнодушно поднес электрический фонарик, луч дрогнул и заплескал над тряпьем: там, за крылом лежало все, что осталось от бабки Петровны.

Была в доме и еще одна находка. В груде лопнувших от огня пузырьков Федор Никанорович обнаружил один целый. Почему его пощадил огонь, было трудно понять. Федор Никанорович встряхнул пузырек и посмотрел на свет. Сквозь синеватое стекло в пузырьке метнулась и пропала чья-то тень.

«Отдам Пасхину, — решил Чернышов, — пусть ископается... Может быть, мне показалось...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Домашний кабинет Памфила Орестовича Пасхина помещался в комнатке столь узкой и темной, что иначе как каморкой его нельзя было назвать. Единственная «роскошь» — настольная лампа под зеленым стеклянным абажуром в латунном

кольце. Юрий Васильевич ожидал, что Паскина, профессора, заведующего кафедрой госпитальной хирургии, эрудиция которого была широко известна, окружают книги, но книг не было. Пока Паскин, оставив Юрия Васильевича в кабинете, ушел хлопотать, чтобы им дали чаю, Юрий Васильевич небрежно развернул томик, лежавший на столе, но прочесть ни слова не смог. Строки была заполнены непонятными буквами, похожими на распустивших усы жуков-древоточцев, наизнанных на длинные нити.

— Это на бенгали, — сказал Паскин, возвратившийся в кабинет.

Сквозь открытую дверь донеслось:

— Муза, папка просил вскипятить чайник! Ты слышишь? У него какой-то тип сидит.

Паскин покраснел и торопливо захрипел дверь.

— Дочери, — сказала профессор, потирая озябшие руки, — такой народ. Но они, безусловно, вскипятят, и целый чайник, вы не сомневайтесь.

В голосе Паскина Юрий Васильевич не уловил особой уверенности. Однако не прошло и сорока минут, как дверь открылась и на пороге кабинета появилась девушка.

— Идите пить чай, — сказала она строго.

Паскин и Юрий Васильевич покорно последовали за ней длинным полутемным коридором. В большой и светлой столовой за столом сидели еще две девушки. Девушка, которая привела их в столовую, первой протянула руку и сказала:

— Муза.

— Юрий Васильевич, — смущенно промямлил Дейнека и церемонно поклонился.

— Мы не называем наших имен, так как не считаем, что они у нас есть, — серьезно заметила старшая, подвывая гостю розетку с голубичным вареньем. — Наш милый папочка решил быть оригинальным за чужой счет, к сожалению, за наш счет. Видите ли, Егор Семенович, наш папочка увлекался музыкой...

— Нашего гостя зовут Юрий Васильевич, — перебила ее Муза.

— А ты помалкивай! — вмешалась третья девушка, уплетавшая бутерброд завидных размеров. — Гамма сама знает, кого как зовут.

— Да, так Сигизмунд Феофанович должен знать, что наш папочка увлекался музыкой и под впечатлением некоей сонаты нарек свою среднюю дочь Музой. Ей повезло, я считаю, не так ли Пересвет Челубеевич? Поразительно повезло!

— Что же, — не без вызова ответил Юрий Васильевич, — Муза — отличное имя, и вообще дело разве в имени?

— Я им то же самое говорю,— сказал Памфил Орестович,— но они и слушать не хотят, совсем вышли из повиновения. Так и хочется иной раз взять ложку и — прямо по лбу...

Памфил Орестович довольно энергично взмахнул чайной ложечкой, будто намеревался тут же привести свою угрозу в исполнение.

— Вы правильно заметили, что Муза — отличное имя,— продолжала Гамма,— но что касается моего имени, то это совсем другой разговор.

— Но «гамма» это тоже что-то музыкальное? — расхрабрившись, спросил Юрий Васильевич.

— Если бы, если бы, Аристарх Хрисанфович, музыкальное... Но нет, это результат еще одного увлечения нашего милого папочки, на этот раз математикой. Это такая греческая буква, Стратилат Петрович, и я удивляюсь, почему наш папочка не заглянул подалее в алфавит, почему я не «Фи», почему я не «Лямбда», почему я не «Пси», наконец? Что вы на это все скажете, Леопольд Драгомирович? И почему мою сестру зовут не «Ижица», наконец? Но нет, Мустафа Тутанхамонович, наш папочка изучает японский язык и нарекает свою меньшую дочь названием японского острова. Вот так, взял и назвал — Кюсю. Как вам это нравится?

— Но какое это может иметь значение?

— Вам это, безусловно, безразлично, уважаемый Тихон Лукич, безусловно. Кроме всего прочего, вы мужчина. А нам как-то? Только мы познакомимся с молодым человеком, только он кому-нибудь из нас сделает предложение, как родители этого барбоса начнут рвать на себе волосы и умоляют его не делать глупости. Они не представляют себе в качестве невестки особу, названную в честь японского острова. Вот такие ограниченные люди, Эдвин Баядерович.

— Но меня зовут Юра,— взмолился Юрий Васильевич, которому начало казаться, что за столом действительно сидят все эти Пересветы Челубеевичи и Аристархи Хрисанфовичи.— Просто Юра... Это когда я начал преподавать, так меня стали называть по имени-отчеству, и я уже привык.

— Ах, вы уже прикажили! — воскликнула Муза.— Быстро, быстро. Скажите, Юра, вы женаты?

Юрий Васильевич пропустил мимо ушей этот прямой вопрос, уши, впрочем, у него запылали.

— Никакого внимания,— наставительно произнес Паскин и, продолжая разговор, начатый в кабинете, сказал:— так вы теперь понимаете, Юрий Васильевич, как передаются индивидуальные различия?

— Да, ваша теория чрезвычайно интересна... Я тоже думал... Юрий Васильевич, несомненно, сообщил бы Паскину, о чем именно он думал, но Муза перебила его.

— Какие вы все ученые, даже противно,— сказала она.— А мы совсем темные и глупые, и с нами даже говорить неинтересно. Да знаете ли вы, кто мы такие? Сказать им, девы, или пусть умрут учеными дураками?

Девы в один голос заявили, что сказать обязательно нужно.

— Мы — парки, да, да, в наших руках все нити человеческих судеб. Вы мне не верите, Юрий Васильевич?

— Верю, верю,— с излишней поспешностью ответил Юрий Васильевич,— но вы даже представить не можете, к каким удивительным выводам мы только что пришли с Памфилом Орестовичем. Это настоящее открытие! Но вот что я хочу вам сказать, Памфил Орестович...

— Подумаешь, открытие! — воскликнула Муза.— Ну, Кюсю, принеси наше открытие. Нужно сбить спесь с этих ученых.

— Опять какие-нибудь неприличные выдумки,— вздохнул Паскин.— Я, Юрий Васильевич, уже давно отказался от своих воспитательских обязанностей. А вот и безобразницы... Что это за бутылка? Вы что, это же мне прислал доцент Чернышов! Муза! Гамма, как вам не стыдно!

Восклицания Паскина были оставлены без внимания. Кюсю поставила перед Юрием Васильевичем круглый аптечный пузырек, и девы в один голос произнесли заклинание, весьма смахивавшее на «ехал грека через реку...» Юрий Васильевич заметил на пузырьке полубогоревшую наклейку с непонятной надписью.

— Это досталось мне в наследство от бабки Петровны,— заметил Паскин.

— Вы знали Петровну? — удивился Юрий Васильевич.

— Папка ее знал,— сказала Гамма.

— Папка беседовал с ней целых три часа.— Муза погрозила Памфилу Орестовичу пальцем.— Мы все про тебя знаем, старый греховодник.

— Понимаете ли, Юрий Васильевич, эта бутылочка может явиться предметом весьма любопытных изысканий. Я бы очень хотел, чтобы вы занялись этим вопросом. Временами там, внутри, появляются смутные образы, какой-то удивительный оптический эффект... Я думаю, что если соединить фотоэлемент с самым примитивным осциллографом, то открылась бы возможность объективного...

— Возможность! Объектность! — насмешливо повторила Гамма.— Даже слова у вас нечеловеческие. Тут что написано, на бу-

тылочке? Что тут написано, я вас спрашиваю? «Приворотное зелье» — вот что это такое. Мы не отдадим нашу бутылочку ни за что!

— Ой, мне почему-то хочется, чтобы сюда сейчас пришел Александр Денисович. Я хочу его видеть немедленно! — Гамма даже застучала туфельками под столом. Ну же, девы, колдуйте!

— Александр Денисович,— сказала, наклонившись над бутылочкой, Муза,— мы вас ждем... Смотрите, сестрицы, вот он.

Юрий Васильевич тоже наклонился над столом и ясно увидел маленькую фигурку, на несколько мгновений показавшуюся внутри пузырька.

Гамма взяла пузырек и сильно взболтнула содержимое, а когда жидкость внутри пузырька успокоилась, удовлетворенно кивнула головой:

— Уже банжит,— сказала она, и Юрий Васильевич увидел, что фигура Сломоухова задвигалась, поднимаясь по какой-то невидимой лестнице.

— Не волнуйтесь, он сейчас будет здесь,— заверила Гамма.— Александр Денисович живет в нашем же доме, только в другом подъезде. Вот он поднимается на второй этаж... Девы, через две ступеньки шагает! Вот он у нашей двери... Александр Денисович, мы вас ждем.

У входной двери раздался сильный звонок.

— Вот и он,— спокойно сказала Гамма и направилась к двери. Из коридора послышался голос Сломоухова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

— Заворожила, заморожила, негодница! — говорил Сломоухов, входя в комнату.— С утра, чем ни займусь, все думаю, все стремлюсь. Меня, такого бродягу, такого непоседу заморожила. День добрый, Памфил Орестович, и Дейнека здесь. Очень приятно, Юрий Васильевич, очень приятно. Но условие, условие! Железное, сверхкрепчайшее условие!

Сломоухов подал всем сидящим за столом руку и, наклонившись к уху Юрия Васильевича, объявил на всю комнату:

— Влюблен в Гамму Памфиловну, понятно? Чтоб сверчок знал свой шесток, а иначе...

— Что иначе? — хладнокровно спросил Юрий Васильевич.

— Иначе, конец всему! Вас, вас, Памфил Орестович, призываю в свидетели. Он еще спрашивает, что иначе? О, конечно, хаос, иначе замыслы мои коварные неистово помчатся и будут все нестись не-

удержимо, пока не поглотятся диким воплем! Моего соперника воплем, разумеется.

— По-моему, — неожиданно сказал Пасхин, отрываясь от каких-то своих мыслей, — по-моему, тут прежде всего раздастся вопль несчастного отца этих трех безобразниц, этих негодниц. Я принимаю к сведению ваши сердечные излияния, Александр Денисович, но должен вас предупредить — ваша избранница проявляет удивительную черствость, поразительное пренебрежение к задачам науки. Думаю, что вам это безразлично.

— Не верю! — запальчиво воскликнул Сломоухов. — Я не верю! Наука, черт возьми, наука — это все для меня. Непрерывное, ежечасное горение, месяцы раздумья и торжествующий взлет человеческой мысли! Да кто это раз испытал, тот...

— Погодите, — остановил его Пасхин и твердо приказал дочерям: — Ну-ка, бутылочку на стол!

Ксюю поставила бутылочку на стол, и Сломоухов нахмурился.

— Дало серьезное, — сказал он. — Тут пахнет Ганюшкиным,

Ксюю наклонилась к бутылочке и нараспев сказала:

— Афанасий Петрович... Мы вас ждем...

— Да, дало серьезное, — повторил Сломоухов, когда фигурка Афанасия Петровича появилась внутри пузырька. — Так вот почему я так стремился! Вот почему я не шел, а летел...

Сломоухов протянул руку к пузырьку, но Гамма со словами: «Александр Денисович, спокойной!» — встряхнула содержимое бутылочки. Сломоухов отшатнулся и зажмурился.

— Коварная, — сказал он.

Гамма высокомерно подняла бровь.

— Человеку, сидящему в аптечном пузырьке, не подобает прибегать к резким выражениям, — сказала она. — Просите прощения!

— Сдаюсь, сдаюсь, но, Гаммочка, это потрясающе! Вы понимаете, что можно сделать вот с этим? — Сломоухов показал на пузырек.

— Понимаем, — сказала Гамма. — Вы это намерены изучить, написать об этом научную работу и, конечно, прославиться. Не выйдет! Не вы, а мы будем вас изучать. И при малейшем неповиновении — вот так... Гамма сделала такой жест, будто встряхивает бутылочку, и Сломоухов вновь зажмурился.

— Вы взрослая женщина, Гамма Памфиловна, — сказал он, помолчав. — И вы даже не представляете, что попало в ваши руки. За этим — кровь! — выкрикнул Сломоухов. — Понимаете? Да, да, именно об этом мне рассказывал Ганюшкин. Именно об этом...

— Да о чем же? — нетерпеливо спросил Юрий Васильевич.

— Ну, знаете, это долгий разговор, Юрий Васильевич. Как-нибудь в другой раз.

— Сейчас же рассказывайте,— приказала Гамма,— сейчас же!

— О, нет. Сломоухову никто не может приказать... Никто, кроме вас, дорогая Гамма Памфиловна, вам я повинуюсь...

Началось это в тридцатых годах. Я тогда был мальчишкой у старателей. Родителей я своих не помню, слышал только, что они были из ссыльных аристократов: догадываюсь, что дело заключалось в каком-то дворцовом перевороте на самом высоком уровне. Затем ссылка в глушь. На приспособленные к полудикому образу жизни мои родители умирают, а я остаюсь один как перст в каком-то якутском чуме, где меня подбирают старатели. По-видимому, я произвел на них впечатление прирожденной смышленностью.

Идет время, и постепенно я начинаю кое-что понимать в старательском ремесле. Золото-то в этих местах кочковатое, жильное — редкость. Промышленная разработка только-только начиналась, тут и простор смекалке, простор интуиции, я бы сказал, интеллекту. И стал я приносить нашей ватажке удачу, да какую! Говорят старики: идем на Виллой, а я ни в какую, я говорю: «Вот сюда, да повыше, и будет, черт возьми». И раз, и два угадал, да что угадал! С этого часа — беспрекословный авторитет, в рот смотрят. Пошучу — с ног падают со смеху, брешь изломаю — в ножки кланяются. Да что там говорить, с четырнадцати лет Денисычем величали, вот как! Народ, понимать надо...

Сломоухов разделил бороду на два кудрявых рожка и вновь задумался.

— И вот,— продолжал он,— и вот, попадаю я к некоей мамке, Редозубова по фамилии. Вы знаете, что такое старательская мамка? Нет, этого понять нельзя, невозможно! Это не женщина, это тигрица, да, тигрица, но с сердцем нежной лани. Вы понимаете? В артели старательской десять, двадцать парней, кругом на тысячи верст — никого, и — одна женщина. Она и бельешко починит, и постирает, мже, пардон, сопли утрет, а кому постарше — выволочку сделает, если там напьется не ко времени или что скроет. Совесть и честь старательская, мать родная, единственный лучик гуманности в черной яме нашей жизни бродячей, вот что такое мамка! А сама? Ест, пока кашу пробует, спит бог знает где, кто с удачи обновку купит, тому и спасибо, в общем, как говорили наши предки, вся нага и отверста...

А кругом народ разный. Знали бы вы, Гамма Памфиловна, знали бы вы, очаровательные девицы, и вы, столичный юноша, в каком аду рождался и закалился этот характер...— Сломоухов поступал себе в грудь.— Но нет, вам не дано даже представить эту

удивительную атмосферу непрестанного подвига и непрерывного человеческого падения... Нет, не дано.. Но мамку тронуть? Этого никому не было позволено.

И вот, бреду я как-то по краю болота, присматриваюсь: вода есть, хоть залейся, а где вода, там держи ухо остро, старатель. И вдруг стон, тихий такой стон. Подхожу ближе и за кустом можжевельника вижу сапог. Обыкновенный сапог, истрепанный в клочья и чуть так шевелится. Я еще ближе.. Мать честная — человек! Весь в крови, и голова и руки, да кровь засохла корой, не разобрать лица. Я назад. Подбегаю к нашему, с позволения сказать, биваку, а там одна Редозубиха. «Мамка! — кричу, — мамка! Человека нашел». Притащили мы вместе с ней этого человека, а он и в память не приходит. Вот собрались к вечеру наши молодцы. Кто такой, спрашивают, а мы и не знаем. Долго он у нас лежал, очень долго, не мамка, погиб бы. Вот так я и нашел Ганюшкина. Стали его расспрашивать, как да что, потому что видели — человек этот не нашего, не старательского звания. Что бродяга, видно, но не старатель. А он помалкивает. «Медведь», говорит, порвал и все».

Сломоухов быстрым движением взял кусок сахара и со словами: «Удивительно укрепляет сердечную мышцу, не так ли, Памфил Орестович?» захрустел им на всю комнату.

— Вот тогда, — продолжал Сломоухов, расправляясь с сахаром, — и рассказал он мне удивительную историю. Было это году в тридцать втором. Да, не раньше. Наразались мы на Коробейникова. Памфил Орестович, вероятно, помнит эту фамилию? Грабитель, негодяй, и — никакой романтики. Он как раз с Алдана улепывал и старателей обирал, да и вообще всех, кто под руку попадет. Ну мы и попались. Зайцев Аполлон до сих пор под стол ныряет, если кто крикнет «Коробейников идет!» Что с нами делали, рассказ не для ушей цивилизованного человека.

Однако в живых остался: потому что спешил атаман, спешил... Сидим мы это у костра, греемся. На душе противно-противно. Труд, можно сказать, целого лета впустую. Да и так, кто без тулупа, а кто и вовсе, но это опять-таки не для цивилизованных ушей.. И говорит мне Ганюшкин: «Ты, Шуренок, того, субливного, заметил в бекеше, что меня обезьяной назвал?» «Приметил, говорю, а что?» «Знавал я его. Видно, медведь меня так умял, что и не узнал он меня, да оно и к лучшему. Дурной человек, хоть и звания благородного...» Ну, я его уговаривать, Расскажи, мол, что да как. Бог ты мой, ну словно сейчас костер перед глазами... Вот точно так, как вы от меня, Гамма Памфиловна, сидел Ганюшкин, пардон, неглиже. А Зайцев все зубами стучал, которые ему Коробейников по доброте душевной оставил.

— А у вас и дверь нараспашку! — раздался вдруг с порога голос Афанасия Петровича.— Стоял он в пальто, держа шапку-ушанку в покрасневших на морозе руках.

Кюсю испуганно взглянула на бутылочку и первой бросилась к Афанасию Петровичу. Все задвигали стульями, освобождая место для нового гостя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

— А мы тут Сломоухова слушаем,— сказала Кюсю, когда Афанасий Петрович уселся за стол. Он нам такие интересные вещи рассказывает!..

— Врет все, небось,— равнодушно обронил Афанасий Петрович.— Известно, слономоуховщина, на бóбах разведенная.

— Не успел отогреться, а уже заокал тут, Афоня-великомученик,— добродушно отшутился Сломоухов.— На бóбах, на бóбах.— передразнил он произношение Афанасия Петровича, и все засмеялись.— Где тут пузырек? А ну-ка, взболтни его разок, Кюсю, чтобы знал, навежа, как вести себя в присутствии дам.

Кюсю накрыла пузырек салфеткой и, замотав головой, нетерпеливо приказала:

— Да рассказывайте ж, Александр Денисович, мы слушаем.

— Там, говорит мне Ганюшкин, вот этот в бекеше — из белых офицеров, и в больших чинах был, подполк. Но однажды предложили ему возглавить секретную экспедицию самого странного свойства. Будто бы где-то в тайге имеется селение, забытое богом и людьми. И есть в этом селении человек, даже не решаюсь вот так просто сказать,— с крыльями человек. Да, да с большими мохнатыми крыльями. И живет давно, лет сто или больше, так что все население этой деревушки его потомки. С крыльями никто больше не рождался, но с такими реликтовыми наростами попадались. И будто посулили тому офицеру золотые горы. Ну, что душа пожелает, то и требуй. Секта какая-то богатейшая, ламы не ламы, но какая-то ниточка в один из Тибетских монастырей вела. И задание было такое: либо самого летающего человека поймать, либо кого из его потомства, а не выйдет, так срезать эти самые наросты, законсервировать особым образом и доставить в тот самый монастырь.

Подобрал офицер из беглых белогвардейцев и забайкальских казаков отряд человек в семь, пошел... Шли звериными тропами, зимой, потому что селение это окружено было непроходимыми болотами и нужно было успеть все сделать до зимы, пока солнце не растопило ледяную корку над болотами.

Верст за сто от деревни на тропе нашли они первый самородок прямо на снегу, потом — второй. Потом такой, что одному и унести невозможно, с телячьей головой. И тут отряд взбунтовался. Сумма-то выходила больше обещанной им, а настоящая награда ждала только того офицера в бекеше. Он их и так и сяк уговаривать — ни в какую. Требуют, чтобы назад их вел, оружием грозят, народишко тоже отпетый. А тут стал появляться летающий человек. Идут, идут, и вдруг на ветках... сидит... Но на выстрел не подпускал. Закричит по-звериному, с дерева снимется — и дальше. А на снегу опять самородок.

Охота, как назло, стала из рук вон плоха. «Веришь,— говорит он мне,— Шуренок, зайца днями не видали, не говоря уже об олене или сохагом. Как будто кто отводил дичь от этих мест». И вдруг прибегает на стоянку этот, что в бекеше, и кричит: «Со-хатого убил! Вот тут неподалеку!». Ну, двое, кто покрепче, пошли с ним. И не вернулись. Опять приходит офицер, говорит помочь нести нужно, люди, мол, ослабли. И опять никто не возвращается.

И вот те, что на стоянке остались, расслышали выстрелы, будто пистолетные. Прошли сторонкой и видят: лежит на снегу сохатый, рядом все четверо, а начальник в бекеше пистолет осматривает, видно, завело в нем что-то, когда тех, вторых, кончил. Ну, эти трое потихоньку — назад, да в разные стороны. Тут уж не до самородков. Думали, что и тот, в бекеше, погиб, а он, вот он, к Коробейникову пристал...

— Александр Денисович,— не выдержал Юрий Васильевич.— Вы же сами встречались в тайге с летающим человеком! Вы рассказывали!

— Запомнил,— удовлетворенно сказал Сломоухов.— Да, было дело...

— Расскажите, расскажите, Александр Денисович,— раздалось со всех сторон, но Сломоухов отрицательно покачал головой.

— Нет ничего интересного, милые девицы. А вот когда я доставлю этого летягу в город, тогда другое дело, тогда Сломоухов к вашим услугам. Все секреты — долой, но пока молчок. Я человек дела, прежде всего дела. Вот только подобрать смельчаков и — в тайгу.

— Простите,— сказал Пасхин,— а ваши академические обязанности позволяют вам отлучиться среди года?

— Игра стоит свеч, Памфил Орестович. Вот только с деньгами будет трудновато... Нужно будет как-то уговорить начальство, заинтересовать. Если бы только я имел хоть малейшее свидетельство какого-нибудь биолога или путешественника, тогда — другое дело.

— А вы искали? — спросил Памфил Орестович и встал из-за стола.

— Папа, ты в кладовку? — строго спросила Гамма.— Но помни, не больше одной книги!

— Искали! — воскликнул Сломоухов.— Да разве можно искать то, чего заведомо нет и быть не может.

— Мне кажется, вы слишком регламентируете вашего отца... — начал было Юрий Васильевич.

— Наши действия не обсуждаются в этих стенах! — обрезала Кюсю.

— Простите, но ведь Памфил Орестович пока наш милый папочка, наш! И мы никому не позволим обсуждать наши воспитательные мероприятия,— заявила Гамма.

— Забываетесь, Юрий Васильевич,— строго сказала Муза.— Ой, встряхну пузырек, ой, встряхну!

— Нет, Юрий Васильевич, вы уж не сердите дам,— сказал Сломоухов.— Это небезопасно, смею вас уверить. Вот вы лучше скажите мне, мог бы я надеяться затаскать вас в тайгу? Вы представляете, конечно, какое обилие приключений нас ожидает там?

— А меня как-то не привлекает ваша цель, Александр Денисович,— сказал Юрий Васильевич.— Поймать удивительного зверя, это интересно, но зверь, судя по всему,— человек.

— Ну, и что же? — ответил Сломоухов.— Ну и что же? А если удачный отлов этого существа — праздник для науки, если это удар по всем нашим представлениям? Черт возьми, поставить эволюционное учение с головы на ноги!.. Но я вижу, что не убедил вас. А вот Афанасий Петрович, вероятно, другого мнения,— крадучиво сказал Сломоухов, и Юрий Васильевич понял, что разговор с ним был затеян не столько ради него самого, сколько ради Афанасия Петровича.— Вы местный житель, богатырь, как вы можете сидеть в городе...

Сломоухов не договорил, в столовую вошел Памфил Орестович с маленькой зеленой книжкой в руке.

— Вот, я разыскал вам один материал,— сказал Памфил Орестович.— Послушайте...

Памфил Орестович перевернул несколько страниц и медленно начал читать, время от времени поглядывая на Сломоухова: «Дождь перестал совсем, температура воздуха понизилась, и от воды стал подниматься туман. В это время на тропе я увидел след, весьма похожий на человеческий. Альпа оцетинилась и заворчала, и вслед за тем кто-то стремительно бросился в сторону, ломая кусты. Однако зверь не убежал, он остановился вблизи и замер. Так простояли мы несколько минут... Тогда я нагнулся, поднял ка-

мень и бросил его в сторону, где стоял неведомый зверь. В это время случилось то, чего я вовсе не ожидал. Я услышал хлопанье крыльев. Из тумана выплыла какая-то большая темная масса и полетела над рекой. Через мгновение она скрылась в густых испарениях, которые все выше поднимались от земли. Собака выражала явный страх и все время жалась к моим ногам. Меня окружала таинственная обстановка, какое-то странное сочетание тишины, немолчного шума воды в реке, всплесков испуганных рыб, шороха травы, колеблемой ветром. В это время с другой стороны слышались крики, похожие на вопли женщины. Так кричит сова в раздраженном состоянии.

Вечером, после ужина я рассказал удэгейцам о виденном в тайге. Они принялись очень оживленно говорить о том, что в здешних местах живет человек, который может летать по воздуху. Охотники часто видят его следы, которые вдруг неожиданно появляются на земле и так же неожиданно исчезают, что возможно только при условии, если человек опускается сверху на землю и опять поднимается в воздух. Удэгейцы пробовали его выследить, но он каждый раз пугал людей шумом и криками, такими же точно, какие я слышал сегодня...»

Памфил Орестович закрыл книжку и задумчиво добавил: — Такие же летающие люди встречались и в Китае...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

— Батюшки, вот удача! Ну что за золотой человек! — воскликнул Сломоухов. — Судя по имени собаки, это Арсень-ёз! Это его собаку звали Альпа, да и поэтичность описания выдает автора*. Ведь сколько раз я слышал и этот плеск испуганных рыб, и шорох трав, и тишину таежной ночи, но чтобы вот так изобразить все вместе и на одном дыхании — никогда. Теперь я кум королю и сват министру. Есть свидетельство, есть! Слово за вами, Афанасий Петрович! Слово за вами! По рукам, что ли!

— Велика честь, Александр Денисович, — сказал Афанасий Петрович и зажмурился. — Где уж нам за вами угнаться.

— Ну, ну, не нужно, Афанасий Петрович. Скромность здесь неуместна. Задачи науки...

— Да какие тут задачи науки? Поймать человека и в клетку посадить, что тут за задачи науки? Зверство одно. Брось, Александр Денисович, пусть его летает...

* Пасхин действительно цитировал В. К. Арсеньева. См. «В горах Сихотэ-Алиня». Примкздат, Владивосток, 1947, стр. 52—53.

— Да как вы можете так говорить! — возмутился Сломоухов. Чтобы я отступил? Плохо же вы меня знаете, Афанасий Петрович. Ведь я же его видел, видел! Между прочим, в тот самый день, когда с вами...—Сломоухов на секунду замялся, но остановиться был уже не в состоянии,—когда с вами произошло несчастье.

Афанасий Петрович заметно оживился.

— В тот самый день? — удивленно переспросил он.— А где?

— Ну, знаете ли, это не в городе происходило, где бы я мог назвать улицу и номер дома...

— Так где же, где? — настойчиво повторил вопрос Афанасий Петрович.

— Ну, у Ерофеева распадка, если вам это что-нибудь говорит.

— Знаю распадок тот. Там старый кедр стоять должен.

— Правильно, правильно, и он как раз на нем сидел,— с удивлением сказал Сломоухов.—Ну, брат, ты здорово тайгу знаешь.

— А чего же не знать, чай, родился в ней, матушке,— Афанасий Петрович задумчиво улыбнулся и как-то по-особенному тепло сказал:— Дедушка, дедка...

— Кто? Какой дедушка? — не понял Сломоухов.

И вдруг Юрий Васильевич вспомнил: тогда, в тот памятный вечер, когда он вошел в комнату, где на столе лежал Афанасий Петрович, было нечто необыкновенное. Был звук, похожий не то на плач, не то на смех, а когда Федор Никанорович подошел к разбитому окну, снаружи тоже донесся этот же всхлипывающий звук.

— А чей же, как не мой,—помолчав, сказал Афанасий Петрович.— Мой дедка...

— Доказательство! — резко сказал Сломоухов.— Черт возьми, Афанасий, не могу тебя понять. То шуточки, то какая-то раздражительная пассивность, и нате! Величайшая загадка науки — и вдруг его дедушка!

— Он правду сказал,— заметил Памфил Орестович.— Правду. И вы, Александр Денисович, тоже сообщили нам очень много интересного и важного, не так ли, Афанасий Петрович?

— Да,—подтвердил Афанасий Петрович.— Конечно. Вот только врал вам Ганюшкин. Не так оно было...

— Что было не так? — поразился Сломоухов.— Все было так, именно так. Вы просто не слышали начала.

— А не так,— упрямо повторил Афанасий Петрович.— Про какую-то бекешу там говорили. Не верно это. Сам Ганюшкин пришел к нам, в деревню нашу, Горбуновку, завлек его дедушка. Про бекешу Ганюшкин говорил для отводу. О себе говорил, змей под-

колодный. Ну, мы его на цепь посадили... Пока не убег. Дядю моего, Григория, убил и убег. А что своих он побил, так я кости сам видал. Правда это. И выбрось, Денисыч, глупые мысли из головы. Дедушку поймать! Да и за что? Он тебе вред какой сделал? Шишку кедровую опалит да орешков пощелкает, там и сыт, зверя не обидит, не то что человека, а ты его ловить... Да и я не дам, нет, не позволю...

Сломоухов наклонил голову и едва слышно спросил:

— А что ты делаешь?

— А ничего,— сказал Афанасий Петрович и будто в шутку положил свою короткопалую руку на плечо Сломоухова.— Только не нужио!

— Ваш намек понял, уважаемый Афанасий Петрович,— сказал Сломоухов, освобождаясь от прикосновения могучей длани Афанасия Петровича.— Понял, но не согласен! Разве можно забыть, что мировая наука способна изменить свой ход, свое течение при соприкосновении с новым удивительным фактом?

— Пойдемте за мной.— Пасхин взял со стола пузырек и сказал Сломоухову: — Это будет для вас очень полезно.

Пасхин вышел первым из комнаты, за ним двинулись гости. Видимо, бутылочка с таинственной жидкостью вздрагивала при каждом шаге Пасхина, так как Юрий Васильевич чувствовал непрестанное головокружение, а посмотрев на Сломоухова, убедился, что тот испытывает нечто подобное.

Юрий Васильевич даже закрыл глаза, прислонившись к дверному косяку, когда Пасхин выливал содержимое в кухонную раковину. Сломоухов попытался ему помешать, но Пасхин встряхнул бутылочку, и Александр Денисович едва устоял на ногах.

Через минуту все было кончено.

Каково же было удивление Юрия Васильевича, когда, придя домой, он обнаружил в кармане пальто пузырек с обгоревшей наклейкой. Пузырек был опорожнен... на две трети, но того, что осталось, было достаточно для исследования. Юрий Васильевич вспомнил, что Пасхин, прощаясь, хитро подмигнул ему.

Юрий Васильевич внимательно рассмотрел пузырек. Снял наклейку, вынул пробку... Медленно наклонив пузырек, слил в граненый стакан содержимое — вода как вода, ничего особенного. Но только теперь Юрий Васильевич заметил, что сквозь темное стекло пузырька проглядывает какая-то сложная и тонкая конструкция, прикрепленная к его доньшку.

Утром в лаборатории Юрий Васильевич расквил изогнутый прут и аккуратно отрезал верхнюю часть пузырька. Когда раздался характерный треск лопающегося стекла, Юрий Васильевич

поднял за горлышко пузырек и остолбенел от изумления: перед ним на четырех ножках, скрепленных с донышком пузырька, стояла металлическая «луковица» с неплотно прижатыми лепестками-створками. Все было искусно выточено из кости и металла.

Далекий день промелькнул в памяти. Еще школьником Юрий Васильевич видел нечто подобное. В то время как его класс изнывал на контрольной по химии, Юра Дэйнека решил не рисковать понапрасну и провести часок-другой под гостеприимной сенью старинного собора. В соборе был размещен антирелигиозный музей, и на стенде перед алтарем среди надписей с цитатами из Вольтера и Омара Хайяма Юра заметил большую бутылку, внутри которой находилась модель деревянного храма. Сквозь узкое горлышко бутылки эта модель никак не могла пройти.

Юра спросил у скучавшего за столиком экскурсовода: «А как в эту бутылку попала модель?», и экскурсовод, обрадовавшись вопросу, подробно рассказал, что весь «храм» вначале собирался вне бутылки из маленьких деталек, а потом, с помощью щипчиков, каждая такая деталька, смазанная предварительно клеем, отправлялась на свое место. Экскурсовод даже показал Юрию Васильевичу — тогда просто Юре — сохранившиеся на некоторых деталях номерки и добавил, что модель эту одиннадцать лет собирал из кипарисового дерева один монах, давший перед какой-то там иконой обет, что трудом рук своих прославит монастырь.

Несомненно, и Ганюшкин, а в том, что эту луковицу мог изготовить только Ганюшкин, Юрий Васильевич не сомневался, так же, как тот монах, собирал эту конструкцию по частям. Юрий Васильевич вооружился лупой и действительно обнаружил на отдельных деталях сооружения выгравированные резцом номерки и обозначения. И вот тогда, повинувшись инстинкту экспериментатора, Юрий Васильевич капнул несколькими каплями дистиллированной воды на верхушку «луковицы». И тотчас же вся конструкция пришла в движение: створки откинулись, и в центре показалось полупрозрачное, похожее на каплю застывшей смолы тело. Юрий Васильевич осторожно дотронулся до него и почувствовал, что предмет этот упруг, но не тверд... Скорее всего он был похож на кусочек хряща.

А когда взойшло солнце, Юрий Васильевич вдруг заметил, что над лепестками «луковицы» за клубился парок... Дотронулся до одного из лепестков — горячий. Юрий Васильевич достал высокий химический стакан, с помощью ниток опустил на дно стакана всю конструкцию, затем достал из шкафа прибор Дюбуа — Реймона, дававший довольно сильные импульсы высокой частоты...

Но оставим Юрия Васильевича за этим занятием,

Пройдут годы, десятки лет... И какими бы успехами ни сопровождалась плановые исследования Юрия Васильевича, его всегда влекла к себе странная «луковица» Ганюшкина.

Все вновь и вновь он возвращался к ней, пока многое не стало для него понятным.

Многое, но не все...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Свежевыкрашенный катер скользил по Адуну. За рулем сидел старшина Ашмарин, рядом с ним — Федор Никанорович. На заднем сиденье катера расположились Афанасий Петрович и Юрий Васильевич.

— Пригрела бабка сердечного дружка? — сказал Ашмарин, разворачивая катер к далекому мосту. — А сам-то ушел.

— Да, ушел, — подтвердил Федор Никанорович, не отрывая глаз от секундомера, который он держал в руках. — Не надо увеличивать скорость, с такой и иди.

Катер прошел под мостом, и Федор Никанорович остановил секундомер.

— Что ж, сорок пять минут, — сказал он. — Дело ясное.

— Теперь-то куда? — спросил Ашмарин, сбавляя скорость.

— А вон к тому островку, — сказал Федор Никанорович. — Где будка собачьего поста*.

Ашмарин выключил мотор, и лодка бесшумно ткнулась в берег.

— Зачем это вы время засекали, Федор Никанорович? — спросил старшина, когда все пассажиры расположились на горячем песке.

— Зачем? — переспросил Федор Никанорович. — Дело серьезное...

— Я ж хотел набавить скорость, а вы не разрешили, — продолжал недоумевать Ашмарин.

— Ты помнишь, Ашмарин, то утро, когда ваши задержали меня на площади? Юрий Васильевич еще был со мной.

— Это когда мы Ганюшкина с лодкой взяли? Так лейтенант же приказал, мне что...

— Вот я все время думал, для чего Ганюшкин к мосту под-

* На некоторых островках Адуну жили сторожевые собаки. Пограничники на катерах объезжали эти «собачьи посты» и подкармливали собак.

плывал, к быку привязывался и дурака разыгрывал, что он гражданин из Сан-Франциско и прочее! Вот сейчас и выяснил, в ноль часов тридцать пять минут он был у быка.

— Это точно,— подтвердил Ашмарин.

А в одиннадцать он еще находился совсем в другом месте.

— Да,— сказал Афанасий Петрович,— в одиннадцать мы были в одной комнате...

— Значит, он не случайно поехал к мосту, все, все намеренно,— воскликнул Юрий Васильевич.— Свидетели ему были нужны, что он ловил рыбу.

— А у него в лодке рыбы было порядком,— заметил Ашмарин.— Часа на два лова, если на удочку.

— Рыбы он наловил заранее,— уверенно сказал Федор Никанорович.— Все продумал... Даже записочку на мой машинке отстучал, когда она у него в починке была.

— Вот ведь карась! — сказал Ашмарин и, вскочив на ноги, тревожно огляделся, но Адун был в этот час пустынем, а на островке спокойно шумел лозняк да волновался прошлогодний камыш, стеной поднимавшийся за островом над узкой протокой.

— Эх, попался бы мне, я бы ему припомнил, как тогда нас с Фоминым на кладбище трепал.

Афанасий Петрович повесил свою одежду на колючий куст, под которым Ашмарин аккуратно разливал «витамин С» по походным стаканчикам. Когда дошла очередь до рубахи, Афанасий Петрович с секунду колебался, но снял и рубаху.

— Что это у вас? — спросил Юрий Васильевич.

Афанасий Петрович резко обернулся к нему. Теперь его обнаженная спина была видна Федору Никаноровичу.

— Неужели отросли? — воскликнул Федор Никанорович.

Афанасий Петрович угрюмо кивнул.

— Как рога у сохатого,— сказал он.— Хоть фабрику строй. Отростки на спине Афанасия Петровича крайне заинтересовали и Ашмарина. Он поднялся на ноги и осторожно притронулся к ним.

— Крепкие,— вздохнул он удивленно.— Ну, точно крылышки у качки.

— У какой такой качки? — спросил Афанасий Петрович.

— Ну, у этой утки,— пояснил Ашмарин.— Он молча опять протянул руку к отросткам на спине Афанасия Петровича, но тот неожиданно выкрикнул:

— Гам! — и лягнул зубами.

Ашмарин от неожиданности отпрянул и сел на колючий куст. Афанасий Петрович хлопнул его по плечу и бросился к баргу.

Ашмарин побежал за ним, но Афанасий Петрович с разгону убежал в воду и поплыл, широко выбрасывая руки.

— Вот она, молодость,— удовлетворенно сказала Федор Никанорович.— Только что был полон предчувствия, говорил о смерти, а через минуту — вон он.. Афанасий Петрович! — закричал он.— Не заплывай далеко! Слышишь?!

Время на острове текло незаметно. Все было съедено и выпито. Солнце клонилось к синющим вдали сопкам и ветер все сильнее шумел в лозняке. Афанасий Петрович только что закончил очередную схватку с Ашмаринным и, тяжело дыша, нежился на песке.

— Афанасий Петрович,— решил Юрий Васильевич,— а почему вы не такой, как все?

— Как не такой? — удивился Афанасий Петрович.— Вот вопросик.

— Ну, не как все. И эти крылышки у вас на спине, и вообще...

— И вообще...—повторил Афанасий Петрович.— Откуда мне знать?.. Иногда я и сам думаю: есть что-то, но зачем это мне?

— А знаешь, Афанасий Петрович,— неожиданно сказал Федор Никанорович,— я ведь тебя мертвым видел. Тогда.

— Знаю,— тихо ответил Афанасий Петрович.— Это он меня спас, дедка... Он может. Его как встретил Сломоухов у Ерофеева распадка, так с тех пор он и не садился: летел, спешил.. Чувствовал старик, что со мной плохо. Он всегда так.

— А кто он? — шепотом спросил Юрий Васильевич.— Дедушка ваш?

— Нет, не дедушка... Он всем нам дедушка, всем, кто из Горбуновки. Но меня он отличал. Я его увидел еще мальцом. Встал как-то утром, а небо чистое. И солнце уже высоко. Что такое, думаю, почему? И сам не могу понять. Гляжу, дядька Григорий идет с поля и весь будто светится радостью.— «Слушай, сынок,— говорит он мне,— птички-то не поют!» Вот оно что, думаю, вот почему я удивился. Тишина такая, будто и не лес вокруг. «Будет, сегодня, будет», — говорит дядька Григорий и бегом от меня в деревню. Ну, а я за ним.

Афанасий Петрович вскочил на ноги и накинул на голые плечи пиджак.

— Побежал и я,— продолжал он.— Мужиков у нас в селе человек семь, а никого не видно. Женщины носятся из избы в избу. Кто с пирогами, кто с брагой. Вижу, собираются в избе у дядьки Григория. Ну, и я туда же, вместе с другими мальчишко-

ми.. Захожу в избу, а там все прибрано, на столе скатерть белая, хрустит как сахар.—Афанасий Петрович сделал руками такое движение, будто сжал что-то хрупкое в руке.—Скатерть ту еще сто лет назад выменяли, когда на краю болота один из нашей деревни попа ссыльного повстречал. А на столе и караваи, и мед, и мед-вежатина, чего только нет.

Тут дядька Смурьгин — как сейчас помню, бородатый такой, по самые глаза борода — поднял чашку расписную с пивом, да как заорет: «Ай, кто пиво варил? Ай, кто затирали?» Тут все в один голос: «Варил пивушко сам бог, затирали святой дух, святы ангелы носили, херувимы разносили, серафимы подносили...» А Смурьгин опять: «А где ж тая птица? Тая птица, что летит, да в ту сторону глядит, да где трубушка трубит, где сам бог говорит?» И тут подскочила тетка Авдотья к холстине набеленной, что в углу висела, и холстинку-то эту в сторону отдернула... Гляжу, а там он, дедушка...

— А какой он? — едва слышно спросил Юрий Васильевич.

— Какой? Так Сломоухов вам уже расписал. Только и другой он... Поднес ему чашу пенного дядька Смурьгин, а он взял ее из рук и до дна выпил. Как ручки выпростал, так я удивился: с чего это на нем армяк надет мехом наружу? Стали к нему мальчишек подводить, а он каждому гостинец в руки, по голове потреплет и имя повторит, будто про себя, чтоб запомнить. Подошел и я. Шепнул тут ему дядька Смурьгин что-то, а дедушка головой закивал — ушки я увидел его тогда, сморщенные и черные, как грибки, морозом побитые, — и сразу меня за спину. Нашупал крылышки и весь задрожал. А дядька Смурьгин ему: «Василисин сынок, говорит, той, что семь лет как померла». — «Помню, помню», — отвечает дедушка и так на меня ласково поглядел, что я сам не свой стал: не могу понять, радость то была или тоска какая? «Какой же тебе гостинчик подарить? — спрашивает, а сам на груди своей мохнатой роется: сумочка у него там висела из лыка. «Вот, погляди, говорит, что я тебе в лесах да на горах подобрал». И достает гильзу медную, вся блестит, как солнышко; видно, начистил ее дедушка песком. Я только к ней руку протянул, а он мне другой гостинец показывает, камень прозрачный, будто водой синей налитый, так и сверкает камень. Я тогда к камешку, а тут он достает зверька махонького, весь мохнатенький, на задних лапочках стоит и на меня черными глазами смотрит, и вдруг, как засвистит зверек, да так громко, что я даже испугался.— Только это я руку протянул, зверек меня как за палец хватит, так две кровавые капельки показались. А все ж схватил я хомячка и побежал с ним к себе... С того раза стал ко мне дедушка часто прилетать...

Слушавший с величайшим вниманием Ашмарин вдруг громко рассмеялся и сказал:

— Ну и здоров ты, Петрович, заливать! Чисто сказка какая!

— А как же он летать-то мог? — серьезно спросил Федор Никанорович, и Ашмарин посмотрел на него недоверчиво. — Не могу понять, крылья у твоего дедушки какие были?

— А летал он на мизинцах, — сказал Афанасий. — Мизинцы у него были не как у всех людей, а длинные-длинные. Вот, — Афанасий протянул свою руку ладонью вверх, и все с удивлением увидели, что на его руке мизинец был длиннее указательного пальца на целую фалангу. — Только у дедушки он вот такой был. А перепонка тоже от лопатки росла... Как и у меня.

Ашмарин приоткрыл рот, да так и забыл его закрыть.

— Вот пойду я в лес по грибы, по ягоды, — продолжал Афанасий Петрович, а дедушка тут как тут. В село не зайдет, а ко мне прилетит. «Дедушка, — говорю, — а что, за лесом тоже люди живут? Вон, дядька Смурьгин намедни врал, лодки будто есть такие большущие, что на них лесу больше, чем на все наше село идет. Правда ли?» — «Правда, — говорит дедушка, — я их сам видел. И трубы, из которых дым идет, когда ихние стряпухи прямо на воде щи варят. Да что, внучек, дома я видел такие большущие, что дом на доме стоит, а труба на всех одна, да толят так жарко, что зимой подлетишь к трубе такой, как раз и обогрелся». — «А не та ли это трубушка, про которую дядька Смурьгин тебя спрашивал?» — «На которой господь бог играет? — засмеялся дедушка. — Бог с тобой, внучек. Это дядька Смурьгин старую песню вспомнил, что до меня еще сложена. Сколько я над землей летаю, каких чудес ни видел, а бога не встретил... И на горах высоких, где облака так и дымятся, и над ласами драмучими летал, что зимы-осени не знают, а вечнозеленые, друг на друга карабкаются и друг на друге растут и умирают. Зверей видел, что на человека похожи, да только хвосты имеют в полтора аршина и как устанут с дерева на дерево сигать, так на хвостах тех и повиснут...»

Эх, внучек, были бы у тебя крылышки, куда мы только ни слетали бы. По-над облаками, где солнышко всегда сияет, все показал бы тебе, всему бы научил...» И заплакал. «И как, — говорит, — из мертвого живое сделать, и как видеть, что спрятано, потому что хоть и не дано нам с тобой знания человеческого, да зато видеть дано многое, что и от глаз и от ушей скрыто...»

— Да, было что-то и во мне,— сказал Афанасий Петрович.— Было... И тогда в госпитале, когда больные все меня к себе требовали, и потом, когда я проходил клиническую практику... Но хуже всего, когда приходилось точные науки изучать. Физику там, химию... Особенно физику. Учу, учу, а у самого как второе зрение: нет, нет, не так, нет, не то.

— Вы были не согласны с учебниками? — спросил Юрий Васильевич, прыгая на одной ноге, второй ногой он пытался попасть в непокорную штанину.

— И опять не так...,— быстро ответил Афанасий Петрович.— Просто мне все по-другому представляется... Вот в вашей физике про поля толкуется, про электрические и магнитные, а я знаю, что их нет. И все...

— Ну откуда же вы это можете знать? — Юрий Васильевич наконец справился с непослушной штаниной, и голос его приобрел должную уверенность.— Электрическим полем называется пространство, в котором проявляют свое действие электрические силы. Достаточно внести в это поле пробный заряд, как на него немедленно начнет действовать некоторая сила...

— А если не вносить этого заряда? — спросил Афанасий Петрович.— Тогда как?

— Мы предполагаем, что и тогда это поле есть, а как же иначе?

— Нет его там...— вздохнул Афанасий Петрович.

— Но тогда и магнитного поля не существует! — горячо воскликнул Юрий Васильевич.— И нет электромагнитного излучения, нет ни радиоволн, ни света! Света тоже нет, ведь свет...

— Есть, есть,— испуганно замахал руками Афанасий Петрович.— Что вы? Как не быть, а вот нет этого, да и не скажешь сразу, распространения нет... И опять не то я хотел сказать, вот всегда так...

— Зарапортовался, Петрович,— рассмеялся Ашмарин. Он сидел в трусах и тельняшке на борту катера, опустив ступни в бурную воду Адуна.

— Нет, погодите, Афанасий Петрович,— настаивал Юрий Васильевич.— По-вашему выходит, что нет фотона?

— Да ничего не выходит,— перебил его Афанасий Петрович.— Просто все... От Солнца ушел, к нам пришел, а лететь не летел...

— Вы полагаете, что фотон, световая частичка, не перемеща-

ется в пространстве, а энергия непосредственно, так сказать, появляется у приемника, не пересекая пространства?

— Да,— удовлетворенно сказал Афанасий Петрович,— так мне почему-то представляется.

— Но тогда где же находится эта энергия, пока частица летит к нам? Если от Солнца, так целых восемь минут с секундами...

— Это по каким часам считать?

— По земным, по солнечным, какая разница?

— А если по часам на самой частице?

— Вот вы как повернули! Да тогда другое дело...

— Часы на фотоне не идут, стоят? Так, кажется, учит теория относительности?... Вот, Юрий Васильевич, почему мы никогда не видели и не увидим луча света в пустом пространстве. Все, что мы знаем о свете, это результат его действия на атомы, на молекулы, на твердые тела. Все эти интерференции и дифракции мы наблюдаем только на экранах. И скажу вам больше, Юрий Васильевич, сама скорость света — фикция, ее не существует. Это просто отношение между пространством и временем. А постоянство его и есть закон природы... Мы можем и должны измерять пространство только светом, другого способа нет...

— Астрономы давно уже ввели такую единицу, как световой год!

— И правильно сделали.

— Но и вообще ваше предложение не вносит никаких изменений в картину мира... Просто вы...

— Вносит, вносит, Юрий Васильевич, это вы напрасно... Нет для природы тогда дальних и ближних пространств. Фотону нет дела до пространства, он не теряет своей энергии ни грама, а мы — мы становимся ближе к Солнцу... Вот вы думаете, Юрий Васильевич, что Солнце освещает нашу матушку Землю, и на этом все кончается? А Земля? Разве она не освещает Солнце? И на Солнце есть полная картина всей жизни на Земле, и можете не сомневаться, что каждый отраженный фотон находит свое место, каждый. Все видит Солнце, все знает. Ну, а если заводится объект, который сам излучает энергию, то на Солнце происходит целая буря. «Как так,— думает Солнце,— откуда? Почему?» Вас смущает, что там, на Солнце, огненные бури, шквалы огня, что там неразбериха всплесков и взрывов? А там порядок, беспорядочный порядок, строгий, как парад, и буйный, как мятеж...

Афанасий Петрович неожиданно остановился и вдруг спросил Ашмарина:

— Как думаешь, там, на Солнце, порядок?

— Как на флоте! — ответил Ашмарин. — Завожу мотор...

И в этот момент над островом пронесся тревожно и жалобно странный крик, и крик еще не замолк, как со стороны протоки гулко прозвучал одиночный выстрел. Афанасий Петрович дернулся всем телом и упал на песок.

— Вот он, пес его дерит! — выкрикнул Ашмарин и, схватив автомат, как был, в трусах и тельняшке, ринулся в кусты. Федор Никанорович подбежал к Афанасию Петровичу. Пуля попала Афанасию в голову, и темная струя крови толчком выбрасывалась на песок.

— Ложись! — крикнул Чернышов Юрию Васильевичу. — Он нас, как куропаток, перестреляет...

Со стороны протоки донеслись короткие автоматные очереди: Ашмарин наугад стрелял по камышу, стараясь вызвать Ганюшкина на открытый бой. Юрий Васильевич, охваченный нераной дрожью, присел на песке, тупо оглядываясь по сторонам. Он не чувствовал в себе ни достаточно сил, чтобы подняться и убежать, ни способности прийти кому-то на помощь. Мимо него прополз Федор Никанорович, сжимая в руке черный пистолет.

И вдруг Юрий Васильевич услышал странный свист над головой, какая-то тень пронеслась над ним. Нужно было поднять голову, но он не мог шевельнуться. Еще мгновение, и прямо перед ним на песок упал большой мохнатый зверь. Ковыляя на коротких ногах — навсегда запомнилось светлое пятнышко на мохнатой ступне — он подошел к лежащему Афанасию Петровичу и всем телом припал к нему, застыв в какой-то томительной неподвижности. Потом этот зверь медленно поднялся на ноги и вдруг распахнул огромные темные крылья, легко оторвался от земли и на мгновение повис в воздухе, как огромная ночная бабочка.

Тут новый звук привлек внимание Юрия Васильевича: там, где протока впадала в Адун, затарахтел лодочный мотор, и знакомая Юрию Васильевичу дюралевая лодка вымырнула из-за кустов. Юрий Васильевич ясно видел и самого Ганюшкина. Опершись на руль, он держал в руке короткоствольное ружье. Потом быстро прицелился и выстрелил дважды. И дважды ухнул корпус стоящей у берега лодки Ашмарина. И дважды щепка и песок брызнули в черную воду. Юрий Васильевич медленно, словно во сне, поднял голову и увидел, что летающее существо стремительно скользит к Ганюшкину, а тот, не отрывая от него взгляда, торопливо перезаряжает ружье.

— Держи, гад! — раздался выкрик Ашмарина. Он поднялся во весь рост и повел яростно содрогающимся автоматом перед собой. Фонтанчики брызг прочертили дорожку перед лодкой Ганюшкина. Тот не обратил на Ашмарина ни малейшего внимания.

Вот Ганюшкин вскинул ружье и выстрелил, не целясь, вверх, но летающее существо скользнуло над самой водой, ударило Ганюшкина в грудь, накрыв всю лодку конаульсивно содрогающейся пеленой крыльев. Ашмарин, издав какой-то звериный крик, подбежал к своей лодке, одним движением столкнул ее на воду.

Ганюшкин, все еще в ворохе вздрагивающего меха, медленно высвободил руку и, сжимая ложе ружья одной рукой, прицелился в Ашмарина. И автоматная очередь и выстрел Ганюшкина раздалась одновременно. Ашмарин схватился за голову и навзничь упал в лодку. Ганюшкин тоже был ранен, голова его скрылась за бортом, и лодка пошла круто поперек течения. Федор Никанорович вошел по колено в воду и, положив дуло своего пистолета на согнутую в локте левую руку, выстрел за выстрелом опорожнял обойму.

В наступившей тишине был слышен только стук удаляющейся лодки Ганюшкина.

И смутно темнея на воде, плыл на восток распластанный причудливый силуэт.

Федор Никанорович прошел вдоль берега и наклонился над полузатопленной лодкой, в которой лежал Ашмарин.

— Юра, помогите, — сказал он, не поднимая головы.

Ашмарина уложил на песок рядом с Афанасием Петровичем. Звук моторной лодки стал едва слышим, потом затих совсем.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Было в рассказе Юрия Васильевича нечто такое, после чего Козлов не мог уснуть целую ночь. Конечно, его не могли тронуть ни трагичность ситуации, ни таинственный туман, окружавший действия. За свою долгую жизнь Козлов по роду службы сталкивался со многими трагедиями, а таинственность почти всегда оказывалась кажущейся. Видимо, в рассказе Юрия Васильевича был какой-то другой фокус: все рассказанное им виделось Козловым со странной яркостью. Что-то было в Юрии Васильевиче, в самом Юрии Васильевиче. Вот почему Козлов, едва пробудившись ото сна, поспешил в институт.

Юрий Васильевич, казалось, ждал его. В комнате с прозрачным потолком был теперь установлен лабораторный стол на колесиках, весь уставленный какими-то приборами. Прямо посредине стола под стеклянным колпаком-холоколом стояла странная конструкция из металла и пластмассы.

— Добров утро,— сказал Козлов.— Я, понимаете ли, не выдержал...

Юрий Васильевич посмотрел на часы.

— Да, да,— сказал он.— Тут выдержать мудрено. Это свалилось на меня, как гора...

— Не падайте духом, Юрий Васильевич! А вы, кажется, хотели что-то проверить? Это ваша аппаратура? — Козлов показал на лабораторный стол.

— Да, но не вся...— медленно проговорил Юрий Васильевич. Козлов недоверчиво посмотрел на него.

— Я ожидал,— сказал он,— увидеть хотя бы небольшую электронно-счетную машину, антенну...

— Вы не ошиблись, все есть... Одну минуточку, товарищ Козлов, сейчас все будет ясно.

Взошло солнце, и поперек стола лег радужной полосой солнечный спектр.

Юрий Васильевич внимательно посмотрел на прибор с большой круглой шкалой. Раздался легкий щелчок, стрелка прибора отклонилась до конца шкалы, метнулась раз, другой и упала. Над прибором появился и растаял серый дымок. Юрий Васильевич взглянул на часы и удовлетворенно кивнул.

— Все верно,— сказал он.

Козлов осторожно подошел к столу, прикоснулся к круглому прибору и отдернул руку.

— Горячий,— сказал он.

— Вы только осторожней, —сказал Юрий Васильевич.— Пока я в полосе спектра, осторожней!

— С чем осторожней? Вот с этим? — спросил Козлов, указывая на прибор.

— Нет, со мной,— тихо сказал Юрий Васильевич, и Козлов увидел, что полоса спектра пересекает лицо и руки Юрия Васильевича.

— Я понимаю,— сказал Козлов.— Вы проверяли, способны ли вы вызвать, даже страшно сказать...

— Дальше, дальше, продолжайте, пожалуйста...

— Вы хотели узнать, способны ли вызвать вспышку солнечной энергии в этой комнате. Так, Юрий Васильевич?

Дейнека кивнул.

— И это, я вижу, удалось вам?

— Да, в каких-то пределах... Разве увеличительное стекло, скажем, двояковыпуклая линза, не осуществляет изменение в концентрации солнечной энергии? Ласковый неяркий осенний или да-

же зимний солнечный луч, собираясь в фокусе линзы, жжет, способен не только расплавить, но и испарить металл.

— Но там же все просто?

— Когда познаны законы оптики, просто...

— Но почему именно вам удается сделать большее?

Юрий Васильевич не ответил.

— Может быть,— продолжала Козлов,— может быть, Афанасий Петрович был потомком каких-то пришельцев из далеких миров и передал вам такую способность?..

— Я не сочиняю фантастических романов,— ответил Юрий Васильевич.— Мне выпал случай прикоснуться к необычной ситуации, к серии новых фактов, к феномену, или, лучше сказать, к новому эффекту... Но я не допускаю мысли, что разгадка этой истории связана с внеземными пришельцами. И на нашей земле, товарищ Козлов, существовали тупиковые ветви. Видимо, «дедушка» Афанасия Петровича и принадлежал вот к такой ветви человеческого рода.

— Но почему мог появиться такой человек? Откуда?

— Взял да и родился человек с крыльями, и все.

— Но, насколько я знаю, существует эволюция, все постепенно.

— Не все постепенно,— сказал Юрий Васильевич.— Иначе можно было бы предположить, что птицы были вначале нелетающими, потом у них появились выросты, и эти-то выросты постепенно стали крыльями? Так выходит, но это было не так. Крыло было своего рода скачком, и первая же птица полетела.

— Но крыло тоже совершенствовалось?

— Да, но потом. И сейчас в этой картине дорисовывается весьма существенная черточка... Возникновение новых видов до сих пор окружено загадкой. Ламарк говорил о таком процессе не иначе, как о чуде — чуде, производимом природой.

— А чем же природа производит это чудо? — спросил Козлов, и по его лицу было видно, что он мучительно стремится понять Юрия Васильевича.— Должны быть какие-то, какие-то... как там Ламарк полагал насчет этого?

— Ламарк объяснял все действием воды, тепла, света и тонких «флюидов», таких всепроникающих веществ. Кстати, а это уже любопытно совпадение, Ламарк был уверен, что именно солнечный свет, именно Солнце поддерживает и преобразует эти флюиды. Солнечный свет... Вот она, ваша «выстровенность», которой вы так хотели. Сначала человечество все больше и больше убеждалось в том, что только Солнце снабжает все живое на Земле энергией, теперь мы вплотную подошли к тому, что Солнце вмещается в ход эволюции жизни на Земле.

Вот вы ожидали увидеть в этой комнате электронно-вычислительную машину, не так ли? И она есть, только не вздумайте искать ее здесь, в этой комнате или в этом здании. Я ждал поутру ее восхода, ждал, может быть, чуть с большим волнением, чем все остальные существа на Земле. Солнце — вот моя вычислительная машина, но это и нечто значительно более сложное и чудесное. Все, что на Земле медленно или статично — рост дерева или жизнь человека, все это отражается на Солнце в бешеной динамике вихрей и протуберанцев, в безумной пляске атомов и ядер. И все находит свой учет: и блеск росы, и плач ребенка, каждая мысль и каждое чувство...

— Это ваша догадка?

— О, нет... Нет, дорогой товарищ Козлов, не просто догадка. Что, разве природа плохо поработала на нашей Земле? Вон через окно видны ели, разве это не чудо? А птица... А человек? Человек! Разве может совершиться мало-мальски сложное действие, если нет, как говорят физики, обратной связи? Связи между исполнительным органом и управляющим, связи между рукой и мозгом; теперь мы можем сказать: между Солнцем и жизнью на Земле. До сих пор ученые были в удивлении, почему Солнце горит так ровно, что жизнь на Земле стала возможной. И ответ теперь ясен: Солнце сдерживается, стабилизируется жизнью на Земле. Давно уже замечено, что бури на Солнце отражаются у нас полосами войн, эпидемий или самоубийств. Нет, эти бури — результат активной реакции Солнца на наши земные дела и обязательно с обратной отдачей на Землю. Многие теперь следует понимать в прямо противоположном смысле...

— Но почему вы, Юрий Васильевич, получили возможность в какой-то степени управлять Солнцем?

— Вы уже задавали этот вопрос, — сказал Юрий Васильевич. — И прежде всего я не согласен в данном случае со словом «управлять». Я не управляю Солнцем, нет... В силу обстоятельств моя нервная система оказалась включенной в естественный процесс обмена информацией между Землей и Солнцем... Если какой-нибудь жучок-паучок проникнет в корпус мощной вычислительной машины и будет своими лапками замыкать и размыкать слаботочные цепи, воздействовать на емкость отдельных элементов и тем самым вызовет появление новых результатов, то можно ли сказать, что он управляет машиной? Вот я и есть такой «жучок-паучок», товарищ Козлов. И не больше... С другой стороны, почему вообще такое могло случиться? Это вопрос более сложный... Человек, с его мыслями, его мозгом — это продукт окружающей его природы, природы, в которой Солнце играет главную, первенствующую роль.

Нет ничего удивительного, что продукты человеческого мозга в исключительной обстановке могут соответствовать природным связям вот в такой острой форме, напоминающей мне как физику своеобразный резонанс...

— И все-таки, Юрий Васильевич, почему именно вы, не человек вообще, а вот — вы?

— Тут многое сыграло роль... А больше всего то направление в науке, которое я выбрал под влиянием Афанасия Петровича и всех тех давних происшествий, о которых вы уже знаете. В этой комнате я урывками занимался той странной конструкцией, которую мне передал ныне покойный профессор Пасхин. Искал, разочаровывался и снова искал... — Юрий Васильевич задумался. — Так, так, так... Я знаю, когда это происходило! — неожиданно громко выкрикнул он. — Днем в этой комнате я всегда просматриваю газеты, Прибор находился в спектре... Кое-что из прочитанного вызывало во мне острую реакцию, и в такие секунды перед моим сознанием со странной навязчивостью возникало лицо Афанасия Петровича, там, на острове, когда я в ужасе увидел, что он убит... Меня охватывало волнение, и в небе далекой страны вспыхивали самолеты. А может быть, не только самолеты?! У вас нет ли свежей газеты? — спросил резко Юрий Васильевич.

— Есть, уходя из гостиницы, я взял сегодняшнюю.

Юрий Васильевич торопливо развернул еще пахнущий типографской краской газетный лист и строго сказал:

— Так, они перегнали семнадцатый флот к берегам Тасмании? Хорошо же...

Юрий Васильевич заметно побледнел и резко взмахнул рукой. Козлов попытался остановить его:

— Я не стал бы этого делать... Кстати, Юрий Васильевич, вы никогда не задумывались над тем, куда делся этот Ганюшкин?

— Нет, — быстро ответил Юрий Васильевич. — В этой комнате нет... Хотя... Постойте! А он жив! — Юрий Васильевич закрыл глаза. — Он, знаете ли, спасся... Я вижу какой-то полигон и его, Ганюшкина. Он все еще бодр... Его окружают люди в военной форме. Я никогда не видел такой формы. Разве только в кино... Да, это он... Хорошо же...

Юрий Васильевич сделал такой же жест рукой, как и тогда, когда прочел о перебазировке семнадцатого флота.

— Вы... убили его? — осторожно спросил Козлов.

— Вполне возможно, — медленно ответил Юрий Васильевич. — Сейчас я его не вижу.

— Понимаю, — быстро сказал Козлов. — Но вот что, Юрий Васильевич... У вас ключ от лаборатории?..

— Да, вот он.

Козлов осторожно сжал пальцами фигурную бородку ключа и потянул его к себе, но Юрий Васильевич только сильнее сжал кольцо ключа.

Оставим Юрия Васильевича и Козлова за этим занятием. У нас есть полная уверенность, что Юрий Васильевич расстанется с ключом от своей лаборатории. Да и как иначе? Юрий Васильевич, конечно, на ты с самым Солнцем, но...

И это правильно.

Нам предстоит сообщить, что в этот же день Козлов отправил в Москву подробную телеграмму, начинающуюся словами:

«Проверьте существование семнадцатого атомного флота. В случае, если этот флот по неизвестным причинам окажется уничтоженным двадцать второго февраля в одиннадцать часов пятнадцать минут, то прошу принять во внимание, что ...»

И так далее, всего 3563 слова.

Еще мы должны добавить, что, по неофициальным данным, спустя два дня после описанных выше событий на Кладбище безымянных героев в Диаманттауне состоялись похороны весьма важной персоны. Приданный штабу глобальной разведки взвод воздушной пехоты пронес на своих плечах гроб странной формы. Он был шире на целых десять дюймов обычного казенного образца «Арми-Коффин-37/21», утвержденного после сокрушительного поражения этого государства в одной из колониальных войн прошлого столетия, и завернут в трехцветный флаг. Гроб с телом сопровождала большая группа военных.

— Какой нелепый гроб! — негромко воскликнул один из них.

— Вы, вероятно, не знали покойного при жизни? Он был неглуп и решителен, педантичен и не без размаха, несколько излишне жесток, но в наш век кто не жесток?

— Он умер?

— Вполне возможно. Определенно ничего сказать нельзя. Что можно предполагать во времена, когда само Солнце сошло с ума?

— Солнце сошло с ума... — повторил про себя его спутник. — Ах, вот что означают разговоры об эффекте бешеного Солнца!

Его собеседник почувствовал, что проговорился, и обиженно поджал губы.

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ

Странный вечер: сегодня как будто хотят встретиться друг с другом солнце, дождь и ветер. Нагнало облаков, и белых и темных, они плавают над крышами, как весенние льдины, и хочется протянуть руки и потрогать их: какие они — холодные или теплые, мягкие или, может быть, хрупкие? А люди кажутся сегодня суетливыми и смешными. Меня могла бы задавить машина, скрип тормозов и ругань шофера я услышал над самым ухом. Словно очнувшись, я прыгнул на тротуар и сбил с ног старика, точильщика ножей. Я немного знаю его (хотя на нашей улице он нечастый гость), война почти не оставила ему лица — шрам вместо бровей и ни единого лоскута здоровой кожи. К тому же он, вероятно, контужен: ни раньше, ни даже сегодня, когда я помогал ему встать, он не проронил ни слова.

Странный вечер. В конце рабочего дня ко мне вдруг забежал Левин и принес пластмассовый преобразователь, который он пообещал год назад. Но мне даже не захотелось попробовать прибор, прийти домой и сразу же попробовать, я отправился в кино на шестичасовой сеанс.

Сначала показывали старую хронику, крутили ленты, присыпанные желтоватой пылью времени — пылью, которая не стирается. Из оврагов, из заснеженных лощин выползали точки и с попутными льдистыми ветрами летели над полями лыжники. И стройный солдат, багущий вперед, рядом со стремительной «тридцатьчетверкой», был очень похож на отца.

Странный вечер. Но если разобраться, ничего особенного не случилось. И вот сейчас, уже дома, когда за стеной в соседней комнате отчим шуршит газетой, то и дело расправляя ее на нужных страницах, и громко прихлебывает чай, я постепенно успокаиваюсь. Я слышу голос матери. Щелканье телевизионных клавиш. Сухой звук от вспыхнувшей спички (отчим курит, но «в меру», десять сигарет в день, и только с фильтром). Иногда в такие же вот вечера мне слышно, как отчим добродушно прохаживается по моему адресу. Будучи хорошим и добросовестным отчимом, он должен меня любить, но что же за любовь без отеческих наставлений, дружеских пожеланий и мужских откровений? Он любит беседовать

о «молодежи вообще»: то с горечью сетует на инертность и пассивность «наших молчаливых людей», то кругло и едко говорит о «сопляках-высочках», которые «всегда и все обязательно испортят», и в обоих случаях находит поддержку матери.

В отношении меня отчим прав: все-то у меня получается не как у людей, я и сам себя считаю неудачником. Прошлой весной я чуть не женился на девушке, которая мне очень нравилась, но оказалось, что она, встречаясь со мной, любила другого. С тех пор прошел год. И весь год я думал о ней, о жизни вообще и о любви и о смерти — обо всем.

Почувствовать себя наконец взрослым в двадцать шесть — это не так уж плохо, как говорит мой отчим. Мне пришла в голову простая мысль: отец погиб, когда был моложе чем я сейчас, мой дед — тоже. Значит, я самый старший из всех нас.

Как-то я сказал матери, что надоела молочная опека, что не могу тратить время на споры по пустякам. Но разве ее убедишь? Она до сих пор боится выйти из дому, если я принимаю ванну. Она думает, что я могу заснуть в теплой воде и захлебнуться.

Вообще-то мы живем дружно. Я даже не обижаюсь на отчима за нравоучительный тон — ведь и я могу высказывать ему все, что думаю о нем. А когда он надоедает своим пытаньем над газетой, как сейчас, я просто ухожу в свою комнату и из вежливости не закрываю дверь совсем, а лишь чуть прикрываю. Мой отчим «жизнь не по книгам» изучал, он «специалист с большим стажем», практик. Но, по-моему, если это и должно давать какие-то преимущества, то лишь при прочих равных условиях.

Может быть, я не справедлив к отчиму, иногда бываю не прав. Может быть, все дело в том, что я помню отца. Я еще не ходил в школу, когда он ушел на фронт, но, я тогда уже разговаривал с ним обо всем: о Земле, о Солнце, об атомах. Мы листали с ним старые книги, где на обороте титульного листа было непременно напечатано: «Бумага без примеси древесной массы (зеленовая)». Отец научил меня читать по первому тому «Жизни растений» — и так я впервые узнал о цейлонских лесах, багровых снегах Гренландии (такими они кажутся иногда из-за массы микроскопических водорослей), о светящихся мхах и кровожадных росянках. Как легко и просто было путешествовать от страницы к странице, по горам и долинам на каком-нибудь допотопном бумажном динозавре, оцетинившемся миллионом строк! Вместе мы разбирались в тонкостях трехцветной печати и в природе северных сияний, рассматривали радиолярии и свечение в Гейслеровых трубках — пока мать не укладывала меня спать (отец, мне кажется, ни за что не догадался бы сделать это вовремя).

Старые книги и сейчас стоят на полках моего шкафа. Время не состарило их: навсегда останутся такими же четкими тисненые золотом буквы на их переплетах.

В сорок третьем отца отпустили с кафедры, он ушел на фронт и пропал без вести. А бабушка моя все ждала его и ждала, и в сорок пятом, и в сорок седьмом, пока не умерла. В сорок восьмом пришел отчим и, конечно, нам с матерью жить стало легче.

Отец стал для меня мифом.

Где-то я видел картину. Она называлась коротко: «Солдат». Солдат держит в руке автомат. Под его ногами и вокруг — до са-

мого горизонта — горят, словно игрушечные, танки и разбитые самоходки, идут в атаку и ложатся на почерневший снег пехотные батальоны. Гигантская фигура солдата не гротескна, не громоздка. Это просто рослый и стройный солдат, и рука его как-то даже нежно сжимает автомат. Под его ногами война, он же словно не замечает ее, а смотрит куда-то в сторону, вдаль. Наверное, сквозь кровавые огни и разрывы он увидел кусочек синего неба. Но только минуту посгостит так солдат. Сейчас, сейчас его рота поднимется с земли, встанет во весь свой исполинский рост, и они пойдут на юг и на запад, толча сапогами огонь. Нужно ли говорить, что солдат на картине похож на моего отца?

А однажды, очень давно, мне приснилась черная опушка зимнего леса и дома, сожженные дотла, — только печные трубы торчат, как надгробья. Стужа. Дыхание превращается в снежок, в иней. Мы будто бы бежим к опушке, а впереди вздрагивает снег, как от ударов палками. У опушки дергаются темные фигурки и тают серые дымки. На мне белый маскировочный халат с заиндевевшими рукавами, ноги с трудом поднимают снежную стеклянную вату. Меня что-то стукнуло вдруг в лицо, в голову так сильно, что я не почувствовал боли. На этом сон оборвался. Помню, я вскочил с кровати, пытаюсь справиться с испугом. За морозным окном ярко горели утренние звезды, в натопленной комнате было так тепло и уютно! Спокойно тикали часы, за стеной похрапывал отчим.

Мне видно, как скатилось вниз солнце по остывающей крыше соседнего дома, как потемнели деревья скверика, в складках которых воробьиные выводки только что устроили шумную возню. Час звезд еще не настал. Еще светятся, как вишни, купола церквушки, а открытое настежь окно дышит теплом совсем по-дневному.

Я помню закаты с сорок пятого. Тогда почему-то развелось много стрижей, сейчас их почти не видно. В сорок девятом крыши поросли первыми телевизионными антеннами, а мимо моего окна стал иногда проходить точильщик ножей — тот самый, которого я сбил сегодня с ног. Несколько раз он точил мне ножи, сыпля колючими искрами, и жестом просил посторониться.

Я люблю вечерние часы, когда можно читать или просто ничего не делать — думать, вспоминать. Раньше я часто включал телеусилитель и подолгу с ним возился, а потом он мне, наверное, надоел. Даже пыль стирать с него стала мать, потому что я немного лентяй. Но телеусилитель — старая затея. Тогда я как раз окончил радиофизический факультет, и у меня было целых два месяца свободного времени. Замысел был прост: усилить поле, передающее телепатическую информацию.

В обычном звуковом усилителе микрофон преобразует звуковые волны в пульсации электрического тока, эти пульсации усиливаются и подаются на громкоговоритель. Никого, кажется, этим не удивишь. Вот если бы удалось поступить точно так же с неизвестным полем, переносящим мысли на расстоянии. Преобразовать его сначала в поле электромагнитное, потом усилить (ведь с этим справится обычный электронный усилитель!), полученные электрические сигналы снова преобразовать в исходное поле.

Я перелистал ворох статей по телепатической связи. Я разыскал материалы и о статистической обработке результатов наблюдений, и о методике проведения экспериментов, и о влиянии посторонних шумов на устойчивость связи. Словом, о чем угодно, толь-

ко не о природе поля. На этот счет до сих пор не опубликовано никаких серьезных предположений. Нельзя же всерьез считать, что информацию переносят электромагнитные волны! Свести все к электромагнитному полю — значит, по-моему, уподобиться старушке из анекдота, которая не представляла себе, как это паровоз может тянуть вагоны без лошади.

Я не знал и не знаю, что это за поле, переносящее мысли на расстоянии, но я верил, что его можно преобразовать в поле электромагнитное. Я ломал голову над преобразователями, пробовал кристаллы, какие-то биметаллические сетки, пластмассы, желе, древесные опилки, обработанные химикалиями, и время надежд еще не кончилось.

...За стеной слышен голос отчима, шелест газеты: «О, да сегодня новый фильм». Я знаю: сейчас мать подойдет к моей двери и скажет, что по телевизору показывают новый фильм. И я отвечаю: «Нет, мам, некогда». Я не люблю телевизор. И сейчас действительно занят. Левин подарил мне, наконец, кусок полупроводниковой пластмассы, значит, я могу попробовать новый преобразователь, — а вдруг получится! Говорил же я с Левиным около года назад. Когда-то он стал для меня идеалом человека, «делающего науку». Он сдержан, корректен. Его можно, пожалуй, назвать замкнутым. Но эта его замкнутость не похожа на повадки хитрого отшельника от науки, дивно и ночью высживающего тепленькие мысли о карьере.

Левин выслушал меня спокойно.

— Но пойми, — сказал он, — никто не знает, что это за поле такое. Может быть, мысли переносятся вовсе не полем.

— А чем же? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Левин, улыбнувшись. Он встал в позу наставника, трезвого и объективного. Что я мог противопоставить «незыблемым физическим канонам», «усилиям большой группы специалистов, работающих над исходной проблемой»?

Я сделал то, что всегда делаю в таких случаях: кивнул головой и сказал: «Ты прав». Повернулся и пошел. Левин догнал меня.

— Брось, старик, — хлопнул он меня по плечу. — Ты мог бы увековечить свое имя любым другим способом. Только не этим. Заканчивай лучше статью, о которой ты говорил. Выводи приближенные формулы, строй графики. Зарабатывай на хлеб.

Кто знает, возможно, Левин был тогда прав. Сегодня он принес пластмассу. Он сделал это потому, что относится хорошо ко мне, но не к моей идее. Жаль.

Вот уже минут десять я ищу электромагнитный экран и не нахожу. Как сквозь землю провалился. Иду ругаться с матерью. Сколько раз говорить, чтобы на моем столе ничего не трогали? «Я ничего не трогала», — оправдывается она. «Но тогда куда же все исчезает?» — говорю я. «Ведь на столе беспорядок, настоящая свалка, — говорит она. — Я только стерла пыль». — «Глупости, — настаиваю я. — Никакой свалки. Исчезла металлическая коробка». «Никакой коробки не видала», — говорит она.

Я нашел экран в своем портфеле. И как он туда попал?

На улице заметно стемнело. Щелчок тумблера — и в радиолампах моего усилителя загораются красные язычки накальных нитей. Их свет тускл и робок — розоватые колеблющиеся пятна на стене, темнота за окном становится от этого плотней и гуще.

Полил было сильный дождь и быстро утих. Двор, деревья, крыши, подоконники почернели и заблестели. Звуки стали глухими, какими-то влажными, в воздухе повисла водяная пыль, сквозь которую дальние фонари видны, как через матовое стекло. Неведомо откуда донеслось шипение и легкий резиновый удар, словно сошлись двери вагона в метро.

Уже очень поздно. Мои поговорили, поговорили и легли спать. Мне тоже пора. Может быть, сегодня приснится отец. Ночь поглотит годы, оживут в памяти старые тени. Маленькая подвижная бабушка с умным лицом будет и ласково и сердито трясти за плечо: «Вставай, вставай, в школу пора!». Отец встанет у книжного шкафа, чтобы полистать наши книги. Он будет рассказывать, я — слушать. Подумать только, впервые в жизни услышать о ледниках и спиральных туманностях, об опыте Плато и волнах Герца, о кроманьонцах и новозеландских растениях-овцах! И это можно испытать снова и снова, но только во сне. На минутку книга застынет, успокоится в отцовских руках, словно тысячекрылая птица. Тогда я захочу говорить, я заспешу рассказать отцу о себе — и тут же проснусь.

Так бывало всегда. Всегда — это значит в те три или четыре ночи, когда я встречался с отцом во сне. И было это давно.

Может быть, бабка все-таки хоть чуточку заразила меня своим неверием в то, что отец погиб. «Мало ли их, сердешных, кого из-за границы не выпускают, кто контужен да покалечен, может, и дорогу домой забыл, разное может случиться». Его могли задержать люди, обстоятельства, а потом ему уже некуда было возвращаться. Мне-то отец нужен и покалеченный, так я думал и думаю сейчас, по привычке, в настоящем времени.

Слышен голос радиодиктора: «Московское время двадцать три часа тридцать минут. Передаем...» Хлопнуло чье-то окно. Еще раз хлопнуло. Это уже не окно, а дверь вагона в метро. Но не могу же я слышать хлопанье дверей под землей, в самом деле. Какая ерунда. Но тогда что это?

Стрелка на моих часах громко отсчитывает секунды: двадцать, тридцать, сорок... я снял часы с руки — так удобней наблюдать за циферблатом... восемьдесят, сто двадцать, сто пятьдесят. Удар. Опять двери. Две с половиной минуты — в среднем как раз то время, которое нужно электричке, чтобы пробежать расстояние между станциями.

Теперь я слышу жужжание колес: электричка уходит со станции, рельсы вторят убегающим колесам, звуки тонут, исчезают в тоннеле. Снова тишина. Живая тишина, из такой иногда рождается гром.

Я начинаю догадываться, в чем дело. Усилитель включен, вот оно что. И на этот раз, кажется, работает.

Преобразователь ловит неизвестное поле, превращает его в электрическое напряжение, оно усиливается и опять рождает поле, а в результате два человека (один из которых я, другой — кто-то неизвестный в метро) связаны ниточкой, каналом, свободно передающим мысли и ощущения. В такое нелегко сразу поверить. Нелегко, потому что я слишком долго ждал этой минуты и боюсь ошибиться.

Я немного теряюсь и становлюсь рассудительным, наверное, потому, что только так можно противостоять фантам. И чувствую, что напрасно теряю время. Жужжание колес пропало. Все стихло.

Но это по крайней мере вполне достоверно. Я понял, что связь была. Раз она прервалась, значит была. Вот когда я захотел повторить это еще.

Я собрал нервы бережно, струна к струне, и они словно зазвенели, готовые отозваться на чуть слышную мелодию. Мои губы высохли, по вискам прошла быстрая теплая волна. Я узнал станцию метро. Вестибюль и ступени эскалатора мелькнули, как на цветной полупрозрачной картинке, на мгновение заслонившей черный от дождя двор. Мелькнули — и пропали. Опять видны слепые блестящие окна, мокрые деревья и ломтик луны, отрезанный краем тучи. Далекий свисток, неизвестно откуда взявшийся, погасил шорохи, с минуту стояла тишина, в которую я жадно вслушивался. И я услышал.

Эскалатор бежал вверх и поднимал человека, руками которого я прикоснулся, наконец, к влажной плотной двери. Очень знакомы были осторожные движения этих сильных рук. Я чувствовал их почти так же хорошо, как если бы это были мои собственные руки. Я услышал легкий ночной ветер и холодные одинокие капли, срываемые с тополей. Свет пропал. Осталась ночь и мокрая улица. И человек, идущий к нашему дому.

Он шагал по улице, а я считал шаги, которые оставались и топились за его спиной в лужицах на асфальте и те, которые еще разделяли нас.

Он шагал, как бывало, легко и быстро, и ему оставалось пройти немного по соседней улице, свернуть налево и выйти на нашу улицу — всего метров триста, не больше. Но он свернул раньше — он так ходил когда-то, даже в пятидесятом я сам еще бегал в школу тем же путем, через проходной двор. Я помог ему, показал дорогу без тупиков, короткую дорогу к дому — ведь я знаю там каждый камень, каждую ямку.

Он вошел во двор и направился к нашему подъезду — маленькая темная фигурка со свертком или чемоданчиком в руке. Он торопился. Я хотел получше рассмотреть его и не смог. Потому что от дальних фонарей вдруг пошли во все стороны желтые влажные лучи и ничего не стало видно, кроме этих лучей.

...Дверь подъезда скрипит так громко, как будто хочет кричать. Быстрые шаги на лестнице кажутся нескончаемыми. Он поднимается... один этаж, еще один... еще. У меня холодеют виски, я встаю, чтобы открыть ему дверь. Как долго он не приходил! Но ведь он знает все. Он прошел огни и воды, и если не приходил, значит, так было нужно.

Звонят.

Рвется какая-то невидимая ниточка. Нужно открыть дверь отцу — и трудно поднять руку, трудно шевельнуться. Случилось что-то непоправимое. Я цепляюсь ногой за провод — в моем усилителе гаснут лампы. Исчезли розоватые блики на стене. Из полураскрытого окна дохнуло сырым холодом от застывших на небе туч — выпуклых, неподвижных.

Бегу к двери. Щелкаю замком. У порога стоит точильщик ножей, я успеваю заметить, как гаснут его глаза под широким влажным шрамом на месте бровей.

— Извините, — с трудом выговаривает он. — Я хотел спросить, не нужно ли вам поточить ножи?

ГЛОТАЙТЕ ХИРУРГА

«Своего хирурга глотайте быстро и решительно; чтобы не застрял в горле, запейте водой...»

Свод Космических Знаний.
т. XVII, Медицина.

Я отшатнулся. Серебристая блестящая змея проворно скользнула в угол и, позванивая чешуей, свернулась в кольцо. Кольцо на кольцо, кольцо на кольцо. Мгновенно на уровне моего лица оказалась небольшая головка с матовыми, совершенно бессмысленными глазами. Глаза были пустыя, как экран испорченного телевизора, а чешуйки, отражая свет, поблескивали, словно тысячи живых глазков.

— Знакомьтесь,— сказал Проф,— это и есть прикрепленное к вам ису 124/Б/569.

Ису — искусственное существо. На Чгедегде, где полным-полно машин, самых причудливых, даже человекообразных, а живые собеседники могут быть похожи и на ленту, и на стол, и на любую машину, принято, представляясь, объяснять происхождение: кто ты есть, искусственное существо или естественное — есу. Сам Проф был есу, среди его помощников — три есу и три ису, Гилик, мой карманный гид-переводчик — ису. И вот еще одно ису — 124/Б/569.

— Твой лейб-медик, лейб-целитель, лейб-ангел-хранитель,— пояснил Гилик, высунувшись из кармана.— Постарайся завоевать его расположение. Как это проявляют дружелюбие у вас на Земле?

Я нерешительно протянул руку. Как-то неприятно прикасаться к змее, хотя бы и с высшим медицинским образованием. К тому же непонятно было, что пожимать. Рук у змеи я не видел, были только какие-то лопаточки, прижатые к телу.

— Но вы, кажется, брезгаете, господин Человек? — Гилик тут же заметил мою нерешительность. — Вам не понравился облик личного ангела. Вы рисовали его себе в виде прелестной землячки. Но вы же сами объясняли, что у ваших однопланетцев форма тела унаследована от обезьян — древесных прыгунов. Этому хирургу негде будет прыгать, ему придется, как червяку, аполззть во все щелочки, вот он и выглядит, как червяк. Внешность ису определяется назначением, это твердое правило Чгедегды. А во всем нашем Шаровом скоплении самых лучших ису делают на Чгедегде. Я сам родом оттуда.

Это я назвал его Гиликом. Как полагается ису, у него тоже был только номер, трудно запоминающийся и трудно произносимый. Поскольку он был моим проводником по всем кругам тамошнего неба, я именовал его первоначально Вергилием, потом получилось сокращение — Гилик. Но скорее всего он со своими пси-р-сжками был похож на чертенка. Этаким маленький, вертлявый, беспокойный, злоязычный и насмешливый карманный бесенок.

Первое время я даже обижался на его шпильки, потом понял, что таково свойство его ума. В погоне за портативностью (а карманный гид-переводчик и должен быть портативным) ему не дали блоков эмоций и центра понимания сложности. Он был вполне логичен, линейно логичен, железно логичен до идиотизма и не уставал удивляться противоречиям Вселенной, материи и человеческой природы — моей. Конечно, я не был последователен и на этот раз. Нуждался во враче, просил врача и отшатнулся, потому что врач был похож на змею.

— На что жалуетесь? — гнусаво протянуло змееподобное.

— Я жалуюсь на старость, — сказал я. — Я старею. Что такое старение? Это спуск с вершины. Моя вершина позади, я с каждым годом становлюсь ниже... по качеству. Мои мускулы слабеют, реакции замедляются, ум становится неповоротливее, я запоминаю меньше, чем забываю. Я ни в чем себя не превосхожу, мечтаю удержаться на вчерашнем уровне, сам себя утрачиваю по кусочкам и не приобретаю ничего, кроме болезней — одной, другой, третьей. Мое завтра неизбежно хуже, чем вчера, вот что самое грустное.

Гилик вмешался и тут.

— Ты должен гордиться, ису, — сказал он змею. — Тебе поручают необыкновенно ответственное дело. Это человек с планеты

Земля — существо особенное, космического значения. Он единственный экземпляр разумников из второй спиральной ветви. Только на нем наши ученые могут изучать биологию того рукава Галактики. Они специально пригласили его с Земли, доставили новейшим ракетным способом, выбрали из трех миллиардов жителей, потому что он лучший из мастеров образного описания своей планеты. Каждое выражение его — находка, каждая строка — открытие, каждая страница — откровение.

— Что ты плетешь? — воскликнул я, хватая болтуна за хвост. — Прекрати это гнусное славословие. Не смей издеваться!

Но он выскользнул, ловко вскочил мне на плечо, зашипел в ухо:

— Тсс, молчи, так надо. Ему не следует знать твоих подлинных параметров. Лейб-ангелов полагается программировать на обожание. Ведь он всю жизнь тебе посвятит. Пусть воображает, что обслуживает исключительную личность.

— Мне необходимо знать строение вашего тела, — прогудел мой змееподобный ангел.

Не без труда вспоминая школьные уроки, я начал:

— Внутри у меня твердый каркас из фосфорнокислого кальция. Называется скелет. Он определяет форму тела, все остальное крепится к нему. Всего в скелете 218 костей. Они соединены между собой жесткими швами или шарнирно, с помощью гибких хрящей...

Несколько странный способ знакомиться — читать лекцию по собственной анатомии. К тому же, как выяснилось вскоре, я не так уж много знал о своих внутренностях. Когда лекция окончилась, я вынужден был предоставить в распоряжение моих целителей капли крови, кусочки кожи и всего себя для просвещения.

Начиная с этого дня, добрый месяц по замному счету, мы только и занимались моим организмом. Не знаю, как программируется обожание на Чгедегда, но змей вел себя так, как будто действительно преисполнился обожания. Он не отползал от меня с утра и до вечера, терпеливо, со вниманием и с жадным интересом расспрашивал, как я сплю, что ем, что мне нравится и что не нравится, что меня интересует, что претит, чего не хватает. Это было несколько надоедливо, но не могу сказать, что неприятно.

Со временем мой лейб-ангел далеко обогнал меня в «я-ведении», изучении моего Я. Правда, я ел, спал и занимался другими делами, подбирая образы для описания чужого мира, а он, не ведая сна и отдыха, неустанно трудился над познанием моей личности, запоминал все слова, которые я обронил случайно, заучивал

все анализы наизусть. И вот настал день, когда мне был задан главный вопрос:

— А почему вы заболели старостью, как вы думаете?

— У нас стареют все,— сказал я.— Естественное изнашивание. Всеобщая энтропия. Накопление ошибок. Как сказал поэт: «В этой жизни все проходит, в том числе и жизнь сама».

Проф не согласился, к моему удивлению:

— Да, изнашиваются камни, скалы, горы, здания, машины. Но все это твердое, неподвижное и потому беспомощное. А река не изнашивается, в ней только вода меняется. Мы в нашем Шаровом скоплении считаем, что тело похоже на реку, по которой текут атомы. Жизнь — это авторемонт, преодоление изнашивания.

— А может, накапливаются ошибки ремонта? Энтропия захватывает управление, и авторемонт разлаживается. Рыба гниет с головы. Мозг подводит.

— Это очень просто проверить. Человек, у вас есть на Земле живые существа без мозга? Они бессмертны?

Кто у нас без мозга? Растения? Но одни из них жиаут тысячи лет, а другие — одно лето. Амебы? Эти вообще делаются через каждые полчаса.

— Нет, отсутствие мозга не способствует долголетию,— сознался я.— Не способствует и не препятствует. Самый совершенный мозг у человека, но мы живем дольше большинства животных.

— Может быть, совершенный мозг обеспечивает долголетие?

— Опять не скажешь. Крокодилы, щуки, черепахи долговечнее нас.

— Так, значит мозг не имеет отношения к долголетию?

— Я не знаю.

— И это самый совершенный мозг Земли! — съехидничал Гилик.— Он даже не знает того, что находится в его ведении.

Проф сказал:

— Наши биологи считают, что жизнь вообще не стремится к бессмертию. Для вида важнее не долголетие индивидуума, а быстрое развитие с энергичной сменой поколений. Твоему животному виду, Человек, смена поколений не полезна?

Подумав, я согласился: да, пожалуй, полезна. Умирает устаревшее, отставшее от жизни, консервативное. Уступает место свежим силам, лучше приспособленным к изменившейся обстановке.

— Но конструкторам Чгедегды известно: если машине требуется поворачивать в пути, надо поставить руль. Если организму полезна смена поколений, нужен орган смены, такой выключатель старости, выключатель жизни.

— По типу реле времени,— вставил Гилик.

Я сказал, что не знаю такого органа.

— Но какие-нибудь переключатели есть у тебя в организме? Вот, например, ты рос в детстве, а потом прекратил расти.

— Такой выключатель известен. Это гипофиз — железа, управляющая другими железами. Когда она больна, вырастают коротконогие карлики или тощие гиганты. А при ее атрофии бывает что-то вроде ранней дряхлости.

Лейб-змей извлек из своей памяти накопленные им сведения: «Гипофиз — железа под нижними отделами мозга. Размер около полутора сантиметров. Просвечивание показало, что железа связана густой нервной сетью с соседним отделом мозга».

— Он называется гипоталамус, — припомнил я. — Считается, что это центр, управляющий температурой, кислотностью и еще эмоциями — горем и радостью.

— А горе и радость у вас не влияют на старость?

— Горе старит человека, так говорят.

— Пожалуй, здесь и надо искать, — решил Проф. — Запоминай, ису-врач. Твоя цель — разобраться в узле гипофиз — гипоталамус. Записал в памяти? Теперь давай наметим маршрут.

Это было уже в самые последние дни обучения. Затем мой лейб-ангел куда-то уехал, сдал там экзамен по я-ведению, а когда вернулся, Проф сказал:

— Завтра приступим к операции.

Завтра операция! Помню наш прощальный ужин, если можно назвать ужином одновременное питание человека и машины. Я сидел за столом, ковыряя вилкой синтетические блюда, не очень похожие на земные кушанья, и запивал все это напитком, совсем похожим на водку (поскольку этиловый спирт на всех планетах одинаков). А змей, уложив кольца на хвост, заряжал свои блоки один за другим. Металлическое лицо его не выражало ничего, но в голосе — я уже научился различать оттенки — чувствовалось удовлетворение.

— Приятно заряжаться? — спросил я.

— Да, у нас положительная реакция на питание. Все ису запрограммированы так. А вы, есу, иначе?

— Пожалуй, и мы так запрограммированы. Грешен, люблю поест. И у меня положительная реакция на бутерброд с икрой.

— Экстремально положительная? — он изучал меня до последней минуты.

— Нет, ису, не наивысшая. Для нас, людей, есть вещи поважнее еды. Мы запрограммированы так, что дорога к цели для нас приятнее цели. Есть приятно, но добывать пищу интереснее — ловить, находить, делать своими руками. Пожалуй, самое приятное —

побеждать: зверя, противника, самого себя, дали, высоты, неведомое, неподатливое. И чем труднее, тем радостнее победа. Так в работе, так и в борьбе, и так же в любви.

— А что такое любовь? Объясни, Человек.

Немножко захмелел я, иначе не стал бы рассказывать машине про любовь.

— Представь себе, ису, радостное волнение, высочайшее напряжение души, зарядку на полную мощность. Чувствуешь в себе силы сказочные, таланты небывалые. Не идешь, а паришь, горы тебе по колено, розовые облака по плечи. Все краски ярче, все ароматы нежнее, все звуки мелодичнее. В ушах хоралы, чуть-чуть кружится голова...

— Типичная картина психического расстройтва. Несоответствие между внешним миром и его отражением. Фотография с переноской,— это Гилик высунулся из хармана, чтобы оставить свое слово.

— Продолжай, Человек,— сказал змей.

— Я могу продолжать сто лет, но ничего не объясню вам, металлургическим. Слепому нельзя растолковать, что такое красный цвет. У нас громадные здания заполнены книгами о любви, и все они ничего не объясняют, только вызывают резонанс. Вот и я, читая о любви, вспоминаю свое: ранний летний рассвет, белесую полосу тумана, невесомое одеяло луга, невнятные тени кустов и бледное лицо девушки, такое доверчивое, такое успокоенное. И в груди столько острой нежности, столько бережливой жалости. Дыхание придерживаешь, чтобы ее не расплескать. Это у меня было, в моей молодости. А тебе вспомнить нечего. Для тебя любовь только слово. Сочетание звуков: «бо-бо-бовь-блям-блям».

— Это ради любви ты хочешь стать молодым, Человек?

До чего же приятно копаться в самом себе! И еще приятно, что кого-то интересует это копание.

— Нет, ису, не для любви. Точнее, не только для любви. Главное то, о чем я говорил в первый день: главное — перспектива. Хочется, чтобы вершина была впереди, а не позади, чтобы мое будущее было длиннее прошлого. В юности жизнь кажется бесконечной. Мечтаешь обо всем, берешься за все, воображаешь, что успеешь все. Я хотел быть ученым, токарем, летчиком, инженером, астрономом, атомщиком — кем угодно — смотри каталог профессий. Стал выбирать, узнал, что выбор — это отказ, отказ от всего во имя одного. Решил: буду писателем, хотя бы опишу ученых, токарей, летчиков и так далее. И опять узнал, что выбор темы — это отказ от всех остальных. Остановился на науке, захотел написать книгу обо всем — о галактиках, микробах, электронах, слонах, аме-

бах, предках, потомках. Но и этого не успею. Теперь собираю материал для одной подподтемы — для книги о вашем Шаровом скоплении. Увы, и тут миллион солнц, десять миллионов планет. А голова уже трезвая и понимает простую арифметику: на знакомство с планетой, самое поверхностное, нужно не меньше месяца. Сколько месяцев осталось мне прожить? Двести? Сто, может быть?

— Следовательно, время — главное для тебя?

— Время и силы, дорогой ису. Пойми всю несправедливость старости: у меня времени меньше, а к. п. д. ниже. На каждый час полновесной работы я должен два часа копить силы. Прибыв на новую планету, с чего начинаю? Ищу, где бы прилечь. Сил должен набраться для новых впечатлений. Набрал, записал, что делаю? Ищу, где бы прилечь. Силы надо накопить для завтрашних впечатлений. В старости жизнь сводится к самосбережению — вот что наисквернейшее. А это так бесперспективно — заботиться о себе.

Тут, выдернув все штапсели из розеток, мой змей вытянулся, как на параде.

— Я рад, что мне поручено чинить тебя, Человек. Твои мечты заслуживают одобрения.

Гилик опять высунулся из кармана:

— Не удивительно, ису. Ведь ты запрограммирован на одобрение. У тебя огромный блок одобрения, уважения, почтения, преклонения, поклонения и умиления. Без этого блока ты был бы вдвое короче и вдвое логичнее.

— Возможно, — ответил змей с достоинством. — Тебе этого не понять. В таких тщедушных машинках, как ты, нет места для высших эмоций.

— Завтра ты будешь мельча меня, — отпарировал бесенок и скрылся в кармане, довольный, что последнее слово осталось за ним.

— Можешь начинать свою Книгу обо Всем, — продолжал змей, все так же торжественно вытянувшись. — Обещаю тебе: в порошок разотрешь, но молодость у тебя будет.

А на завтра началась операция, то самое измельчание, на которое намекал Гилик. На Чгедагде эту операцию называют «эзххорджх». За неудобопроизносимостью такого слова я предлагаю термин «миллитация», в смысле «деление на тысячу, взятие одной тысячной».

Принцип миллитации таков: во время атомной копировки предмета воспроизводится не каждый атом, а только один из тысячи.

Каким способом атомы разбирают, как сбрасывают, как оставляют и соединяют, откуда берут энергию и куда отводят излишки,

ничего я вам объяснить не смогу, потому, что для этого надо изложить основы атомно-физической техники Шарового — три объемистых тома. Мне пересказывали их популярно, но я не все понял и боюсь напутать. А как это выглядит внешне, расскажу, поскольку сам был свидетелем.

Мы пришли, а змей приполз в лабораторию, где стоял емкий посеребренный шкаф, весь опутанный проводами и шлангами, с небольшим ящичком на боку. Это сооружение напоминало будку с милицмейским телефоном снаружи. Змей заполз в большой шкаф, встал на хвост, свернул кольца и застыл в своей любимой позе. «Надеваем на тебя, ису», — сказал Проф. Змей повернул ко мне свою головку и сказал: «Человек, будь спокоен. Начинай Книгу обо Всем». Проф захлопнул дверцу шкафа, что-то загудело, замыло, зашипело и засвистело внутри, со звоном открылась дверца маленького ящичка, и змей оказался там, но не обычный, вчерашний, а совсем маленький, словно изящная металлическая статуэтка. И, глянув на меня глазами-бусинками, он вдруг пискнул тонюсеньким голоском:

— Селовек, будь спокоен. Насинай обо Всем.

Проф спросил:

— Ису-врач, помнишь ли ты маршрут? Ису-врач, помнишь ли ты задачу?

— Задаса — излечить от старости Селозека. Для этого я обследую...

Такие вопросы задавались, чтобы проверить, не утерялись ли какие-нибудь качества при миллитации, не ускользнуло ли что-нибудь из памяти вместе с выброшенными 999 атомами? Но копия отвечала безукоризненно. Как мне объяснили, обычно машины безболезненно выдерживают уменьшение в тысячи, миллионы и миллиарды раз, поскольку их кристаллы и транзисторы состоят из однородных атомов. Другое дело мы, живые существа, естественные — есу. Наши белки и нуклеины невероятно сложны и своеобразны, нередко один атом играет в них важную роль, например, атом железа в крови. И эти важные атомы могут потеряться при пераой же миллитации. Так что метод «эжххоркдх» для нас не годится, для живых существ применяют совсем другой, недавно открытый способ «шаркхра».

Задъв еще несколько вопросов, члены комиссии подставили змею белую тарелку. Он проворно скользнул на нее, улегся, блестящим браслетом и пискнул в последний раз: «Надейся, Селовек». Тарелку внесли в большой шкаф, откуда давно уже были сососаны 99,9% атомов, вновь закрыли посеребренную дверь, опять загудело, замыло, засвистело; звякнув, открылась дверка малого

ящичка. На полочке там стояло кукольное блюдечко с металлическим колечком. И колечко то подняло булавоочную головочку, что-то просвистело. Приблизив ухо, я уловил: «...дейся».

Помощники Профа, три есу и три ису, поспешно приставили к ушам усилители.

— Ису-врач, помнишь ли ты маршрут?

— Ису-врач, помнишь ли ты задачу?

И, к удивлению, это металлическое колечко свистело что-то разумное и членораздельное.

Белое блюдечко ставят на золотистую тарелку. Гудит, шипит, звенит.

После третьей миллитации я с трудом разглядел волосок на белом кружочке, подобном лепестку жасмина. Голос уже не был слышен, перешел в ультразвуковой диапазон. Проф не спрашивал, экзамен вели специальные ису со слоноподобными ультразвуковыми ушами. А волосок на лепестке отвечал, как разумное существо, — о гипоталамусе и гипофизе.

Четвертая миллитация — последняя. Мой доктор уже не виден. Я знаю, что он находится на той белой точке, что лежит на золотой монетке, что лежит на голубом блюде, поставленном на синюю тарелку. Знаю, но как ни таращу глаза, ничего не могу разглядеть. Теперь и ушастые ису ничего не слышат. Разговор ведется по радио. Вместе с приемником включена и телевизионная передача. Иконоскопами в ней служат глаза змея, его оком мы смотрим на микромир, как бы сквозь микроскоп с увеличением в 10 тысяч раз. И в мире этом все не по-нашему. Там дуют ураганные ветры, которые гонят по воздуху целые глыбы и скалы. Некоторые из них ложатся рядом со змеем, одна катится по его телу. Но он выбирается из-под нее, не поцарапавшись. В мире малых величин иные соотношения между размерами, тяжестью и прочностью.

А глыбы те — обыкновенная пыль. Угловатые черно-серые, с плоскими гранями — пылинки металла. Желто-серые со стеклянным блеском — песчинки, бурые плоские — чешуйки глины, лохматые коричневые и красные ханаты — шерстинки моей рубашки. Идеально-ровные бурые шары — капельки масла, шары прозрачные — может быть, капли слюны. Да, вероятно, слюна, потому что в этих шарах плавают прозрачные, как медузы, палочки, бусы и змейки — бактерии, конечно. Рядом с кольцами змея они выглядят, как слизняки или гусеницы.

Пока я рассматривал все это с любопытством, шел экзамен, самый продолжительный из всех. Комиссия настойчиво искала ошибки миллитации.

— Превосходно, энтропия приближается к нулю, — сказал, наконец, Проф. — Действуй, ису.

И опять я услышал:

— Человек, надейся на меня.

— Счастливого пути, друг мой искусственный.

— Внимание, подаем шприц.

Тонкая игла коснулась цветных блюдец. Как я ни старался, никакого движения не смог уловить. А на экране отлично видно было, как к белому блюду приблизилось нечто зазубренное и мозаичное, состоящее из плиток разного оттенка от грязно-белого до угольно-черного. И когда срезанный край этого зазубренного подошел вплотную, мы увидели мрачную трубу, неподобие тоннеля метро. Так выглядела для микропутешественника игла обыкновенного шприца. Скрежеща лопатками, скользящими на гладких микрокристаллах, змей решительно двинулся в глубь тоннеля. Мигали вспышки, озаряя экран и слепя нас. То ли змей не мог наладить свои прожекторы, то ли выжигал что-то. Последнее предположение оказалось правильным.

— Не слишком хорошо прокипятили вы шприц, — послышался ворчливый голос. — Здесь полно нечисти.

— Ису, продвигайся вперед. Будет еще обработка ядом.

— Подождите, я тут наведу порядок.

— Ису, нельзя ждать до бесконечности. Все равно ток воздуха заносит инфекцию. Человек справится с сотней-другой микробов.

— А я не уйду, пока не наведу порядок. Человеческий организм требует стерильной чистоты.

Вспомнилось, что эту фразу я слышал на Земле в своем доме. От кого? От тети Аси — семнадцатой по счету и самой старательной из семнадцати нянек моего сына. Тетя Ася была помешана на чистоте, вылизывала дом до последней пылинки. Во имя чистоты трижды в день выгоняли меня из кабинета и раза три в неделю из дома. В комнате все блестело, на столе блестело, но письменного стола не было у меня. Я ютился в читальнях со своими черновиками.

— Ты, как тетя Ася, все сводишь к уборке. А дело когда?

— Тетеась, кончай, — подхватил Гилик.

Впоследствии это звукосочетание стало именем змея — Тетеас. Он не обижался, даже гордился, что приобрел, помимо номера, собственное имя, как живой человек. И звучало солидно: «Тетеас», нечто латинско-медицинское, как тетанус, таламус, тонус.

Наконец он уговорился — Тетеас номер 124/Б/569 сказал, что готов к инъекции. Начались обычные лабораторные манипуляции:

шприц обожгли ультрафиолетом, мне обожгли, а после этого смазали синюю жилку на сгибе левого локтя, прицелились иглой...

Укол.

— Я в вене. Все нормально,— доложил змей деловито.

— Ну вот, Человек, смотри, каков ты на самом деле. Изучай себя углубленно,— добавил Гилик.

Честно говоря, я побаивался этого момента. К сожалению, я принадлежу к тем людям, которые не выносят вида крови. Меня мутит даже в кино, если на экране показывают хирургический киножурнал. Я заранее содрогался, представляя, как зазубренный тоннель вонзится в мою плоть, будет рвать кожу, как хлынет ручьем кровь и все травмы появятся на экране с тысячекратным увеличением.

Но я увидел нечто настолько несходное ни с человеком, ни с живым мясом, ни с кровью, что никак я не мог отнести происходящее к самому себе. И в тот момент, и позднее все время я воспринимал экраны и сообщения Тетеаса, как историю приключений в некоем чуждом мире, ко мне не имеющем никакого отношения. Никак не мог почувствовать, что этот странный мир и есть я.

Судите сами: Тетеас плыл в вязком, пронизанном какими-то нитями киселе, наполненном бесчисленными лепешками, слегка змятыми в середине, темно-красными в свете прожекторов. Толкаясь, переворачиваясь, обгоняя друг друга, все эти лепешки стремительно неслись по трубе, мозаичные стены которой проявлялись на мгновение, когда сам змей натывался на них. Изредка среди лепешек появлялись полупрозрачные неопределенной формы амебоподобные куски студия, не более одного на тысячу лепешек. И еще время от времени мелькали тупоносые чурочки, отдельные бусы и цепочки бус. Так выглядела моя кровь в глазах-микроскопах Тетеаса. На лепешки были похожи красные шарики — неутомимые почтальоны крови, доставщики кислорода, уборщики углекислоты. Амеб напоминали лейкоциты — строгая охрана больших и малых дорог организма, гроза непрошенных гостей. А чурки, бусы и цепочки — это и были непрошенные гости — бактерии, протворившиеся в кровь.

Я пишу обо всем этом добрых полчаса, вы читаете около минуты, в действительности прошло несколько секунд. Только-только отзвучал голос Тетеаса: «Я в вене, все нормально»; одновременно я увидел суп с красными лепешками, и тут же Тетеас доложил: «Прошел сердце, нахожусь в легочной артерии». Еще две-три секунды, тубинги кровепровода приблизились вплотную, открылись трубы поуже, и змей нырнул в одну из них. От этой трубы отвечались совсем узкие, как водопроводный стояк, Красные шарики,

напирая на впереди плывущих, с трудом втискивали их в эти стояки. Самая форма их менялась, тарелки превращались в валики. И Тетеас сунулся за одной из тарелок, но труба оказалась узкой для него, и, прорвав стенки, он ввалился в пустой просторный мешок. Мне показалось, будто что-то кольнуло под левой лопаткой.

— Черт возьми, доктор, вы порвали легкое своему пациенту. Как он будет дышать теперь? — воскликнул Гилик.

Проф был смущен немощно.

— Конечно, на легкие, попортил стенку одной альвеолы. Капилляр был недостаточно эластичен.

— Ну да, капилляр виноват.

— Вы уж извините, — продолжал Проф, обращаясь ко мне. — Некоторые повреждения неизбежны. Мы же советовались с вами о маршруте, вы не предложили ничего лучшего.

Да, мы не один день обсуждали маршрут проникновения в мой мозг. Прямой и ближайший отвергли сразу — я вовсе не хотел, чтобы мне сверлили череп, оставляли в нем дырочку, хотя бы и тоньше волоса. Вести пилули в нос? Но тут Тетеас попадет в передние доли мозга — кто его знает, что он повредит по пути к гипофизу. Я сам предложил привычную инъекцию в вену с маршрутом самым длинным, но и самым безболезненным, по готовым дорогам организма — венам и артериям. Недаром и на Земле важнейшие дороги называют транспортными артериями.

Итак, намечен был такой путь: вена левой руки — сердце (правая половина) — легочная артерия — легкое — легочная вена — сердце (левая половина) — аорта — сонная артерия — мозг. И вот через минуту Тетеас в легком, и тут же первая травма.

Мое легкое, точнее один из многочисленных пузырьков его, альвеола, выглядело как мягкий мешок с выростами — карманами. Мешок этот то расширялся, то сжался, поскольку, глядя на экран, я хотя и волновался, но все же дышал попутно, наполняя легкие воздухом. При этом в мешок время от времени влетали какие-то обрывки канатов и даже камешки. Потолкавшись в воздухе, они оседали на дне карманов, прилипая к куче мусора, уже накопившегося там за долгие годы дыхания. Оказывается, легкие не умеют проветриваться, так и собирают на стенках всю случайно залетевшую мелкую пыль.

Хорошо еще, что я не курильщик. Зяблый табачник в ужас пришел бы, увидев в своем легком плотный слой желто-коричневой пыли.

— У тебя все в порядке, ису? Тогда продолжай движение, — напомнил Проф. Разрывая капилляр, Тетеас просунулся в ближай-

ший сосудик — на экране он выглядел широкой трубой. Снова замелькали впереди, сбоку, сзади лепешки эритроцитов, все яркие с полным грузом кислорода, и через три-четыре секунды мы услышали: «Все нормально. Я в сердце, в левом желудочке».

На этот раз змей не проскочил сердце с ходу.

— Я осмотрюсь немножко,— заявил он, выгребаясь из общего потока.

Я увидел свое сердце изнутри. Мутно-белая стенка выложена многоугольными плитками, словно ванная комната, но не гладкими плитками, а шершавыми, волокнистыми. Впереди, там, где был клапан, плитки сминались складками, вздымались буграми, целыми горами, и бугры эти ходили ходуном, когда клапан приоткрывался, выпуская кровь в аорту. А лепешечки так и плясали вокруг, образуя завихрения, кровевороты, и вдруг, устремляясь вперед, высыпались наружу в аорту, словно зерно из зева комбайна.

Тетеас наблюдал эту картину несколько минут, потом предложил:

— Давайте, я срежу эти бугры. Они на клапане лишние. Жесткие, торчат, мешают потоку крови, совершенно безграмотны с точки зрения гидравлики.

Проф сказал:

— Ису, не отвлекайся. Выполняй свое прямое задание. Ты застрянешь тут на неделю.

— А мне трудов не жалко. Меня послали навести порядок, я и наведу порядок. Неисправный шлюз на главном кровоспуске! Это же скверно.

Пока что испугался я. Впервые почувствовал, какую неосторожность я совершил, впуская в свое тело эту металлическую тетьку Асю. Вспомнил, как, бывало, вернувшись после генеральной уборки в кабинете, по неделям разыскивал свои же рукописи в дальних углах шкафа, изучая идеальный «новый порядок», установленный ретивой ревнительницей чистоты. Но тогда я мог хотя бы убежать из дому, спастись в городской читальне. А куда убежишь из своего тела?

Проф был тверд:

— Ису, выполняй прямое задание. Тебя послали сделать человека молодым, следуй по назначению.

— Но пойми, Проф, этот обросший бляхами клапан не сможет снабжать молодое тело кровью, не справится.

— А в старом теле бляхи вырастут снова, и вся твоя работа пойдет насмарку. Ису, начинай с первопричины, не разменивайся на борьбу с последствиями.

После некоторого размышления Тетеас сдался. Логика победила в нем старательность.

— Хорошо, пусть будет по-вашему. Но я еще вернусь сюда.

У меня отлегло от сердца. Я начал думать даже, что идея Тетеаса не так плоха. В самом деле, сколько мы тратим героических усилий, стараясь великанскими нашими руками починить микроскопические прорехи тканей. Сколько мы режем и реем напрасно только для того, чтобы добраться ножом и пальцами до больных внутренностей. Ведь для того, чтобы исправить порок сердца, вспарывают кожу и мускулы, перекусывают ребра, сердце прорезают насквозь. Нам нужно расширить дверь в комнату, а мы для этого ломаем наружные стены, крушим перегородки, водопровод, телефонную связь. Насколько удобней было бы посылать хирурга внутрь, даже не обязательно такого миниатюрного, как Тетеас. Хирург по сердечным порокам мог бы быть раз в десять больше, хирург по желудочным болезням или по раковым опухолям — даже в сто раз больше. Это уже приближается к возможностям земной техники. Обязательно нужно будет захватить чертежи Тетеаса, когда я вернусь на Землю.

Мой лейб-врач между тем пробирался к выходу из сердца, преодолевая бугорки и бляшки, словно скалы, переплывая застойные заводи карманов, где сонно колыхались попавшие в тулж эритроциты. Но вот и основное русло. Течение все быстрее, стремительнее. Тетеас кидается в густой поток лепешек. Кричит: «Высочил! Аорта!» Через секунду: «Дуга аорты!» Мелькает темное жерло. «Это, что ли, сонная артерия?» И мчится куда-то вперед и вперед во тьму.

Так совершалось его путешествие по телу. Бросок! Вынесло куда-то. Осмотрелся. Кидается в русло опять. Вынесло, осмотрелся. И снова вниз головой в кисель с красными лепешками.

Ну, куда занесло на этот раз? Темно что-то. Экран померк, и голос не слышен.

— Тетеас, где ты?

Молчание.

— Ису-врач, я Проф, я Проф. Тебя не слышим, не слышим. Перехожу на прием.

Молчание.

— Затерян в дебрях тела, в джунглях клеток и капилляров,— мрачно сказал Гилик.— Ну, где он? Он же в тебе, Человек. Не знаешь? Тоже мне венец творения!

Весь вечер и весь день после этого я слышал только одно: «Ису, ису-врач, где ты? Тебя не слышим, тебя не видим. Где ты, где ты? Перехожу на прием».

И ночью, когда полагается спать человеку, Проф или Гилик, или кто-либо из незасыпающих ису, сидел возле меня и, прикладывая шарик антенны к моей голове, шее, затылку, шептал монотонно: «Ису, ису, перехожу на прием». Шептали, чтобы не мешать моему сну. Все равно я не спал. Как я мог заснуть, когда рушились лучшие мои надежды?

Ведь я уже настроился на молодость. Мысленно распорядился будущими десятилетиями, отобранными у старости, и часами, отобранными у отдыха. Составил расписание. Страсть как люблю составлять расписания. Обдумал предисловие для Книги обо Всем, написал первую страничку.

И вот все идет прахом. Ничего не добившись, еще не разобравшись, даже не дойдя до места назначения, мой целитель теряется, терпит аварию. Хоть бы бляшку с сердечного клапана сорвал, и то был бы толк.

Плакала моя молодость!

И наконец, просто жалко было (не упрекайте меня за эгоизм) мою стальную змееподобную теплорегуляторницу, такую ревностную, преданную, ко мне внимательную, не по-людски бескорыстную. Вот сидит она сейчас в темноте, одна, беспомощная и на помощь не надеется, может быть, знает уже, что жизнь кончена, поломки безнадежны? Так рано погибла, так мало в жизни успела, так ничтожно мало видела хорошего.

Сутки напрасных поисков. Радио молчало, малый рентген не брал такую мелочь, большой рентген для меня был небезопасен. Но вот на вторую ночь я почувствовал, что у меня чешется левая ладонь. Деньги в Шаровом не в ходу, так что я не воспринял этот зуд как благоприятную примету. Часа через два ладонь покраснела, припухла, а потом так начало гореть и дергаться, словно кто-то у меня внутри, уцепившись за нерв крючком, старался его порвать. А снаружи ничего: ни царапины, ни ссадины, ни прыщика.

Я поспешил вызвать Профа, сообщил радостно:

— Нарывает. Левая ладонь. Как вы думаете, не могло его занести в левую руку?

Осмотрели схему моего тела. Оказалось, что от дуги аорты совсем рядом ответвляются сонная артерия, идущая в мозг, и левая плечевая, снабжающая кровью левую руку. Стремительно пронесся в токе крови, Тетевас легко мог спутать эти сосуды. («Надо будет повесить указатели со светящимися надписями», — сказал Гилик по этому поводу.)

— Попробуем наладить связь,— сказал Проф.

Он миллитировал иглу и ввел ее, тончайшую, почти невесомую, в самый центр нарывчика (я ахнул от боли). И почти сразу же передатчик, молчавший больше полутора суток, загрохотал на всю лабораторию:

— ...Кусаются, как дикие звери. Они отгрызли антенну, глаза и все, что можно отгрызть. Какой дурак сделал мне эластичные немаллические тяжи? Боялись, что металл устанет через год, а пластики они перегрызли за день. Алло, алло, да это я, ису-врач 124/Б. Пришлите мне запасные фотоглаза. Да, я чувствую иглу. Наклейте глаза на иглу, я их нащупаю.

— Нашелся! Ура, ура, трижды ура!!!

Глаза были наклеены, игла вошла в нарыв, опять я закричал от боли. Тетевс прозрел, но на этом приключения не кончились. Оказывается, в джунглях моего тела, в каком-то закоулке ладони Тетевс вел бой не на жизнь, а на смерть с полчищами амебopodobных лейкоцитов. Уже тысячи их Тетевс раскромсал своими лучами и лопатками, но все новые лезли в драку, обволакивали членики змеиного туловища, стараясь оторвать и переварить все, что можно было оторвать и переварить. И доктор мой явно изнемогал в этой борьбе.

— Человек, что же ты смотришь? Прекрати немедленно! Это же твоя внутренняя охрана. Отзови ее!

— Но они не подчиняются мне.

Гилик воздел лапки к небу:

— О всезнающий, познай себя для начала.

— Помогите, они залепили мне глаза. Ой, кажется, оторвут!

Проф спросил:

— Слушай, Человек, почему они кидаются так на него?

— Но он же чужеродное тело.

— Слушай, Человек, а как они распознают чужеродное тело?

— Да, да, у них же нет ни глаз, ни ушей, ни носа,— подхватил и Гилик.

— Не знаю, какая-то антигенность есть. Свои белки не принимают чужие.

— Но как они узнают, которые клетки чужие? Как? Как отличают красные шарики от бактерий?

— Знать надо, а потом уж лечиться! — проворчал Гилик.

Проф прекратил бесполезные советы.

— Слушай, ису-врач, слушай меня внимательно и действуй быстро. У организма человека есть какой-то способ распознавать чужих. Тебя грызут потому, что в тебе угадали чужака. Но своих лейкоциты не трогают. Постарайся замаскироваться под своего. Налови

красных шариков, обложись ими, натыкай на все выступы и лопаточки и удирай, тебя пропустят. Позже в дороге разберешься, что там ощупывают лейкоциты. По всей вероятности, есть какая-то группа молекул или часть молекулы, некий отличительный знак, пароль.

Совет оказался удачным. Мы и сами на экране увидели, как неразумно вели себя слепорожденные стражи моего тела. Как только Тетеас унизал себя красными тарелочками, лейкоциты перестали его замечать. Под эритроцитовым плащом-невидимкой он спокойно привинтил себе глаза и антенны, неторопливо отремонтировал ходовую часть и двинулся вперед. И лейкоциты расступились, словно «руки» у них не поднимались на этого агрессора, который уходил, прячась за спины пленников.

Вот где идет война без всяких конвенций — в нашем собственном теле!

И еще я подумал, что в этой войне, где все позволено, наверное, природа уже испробовала все хитрости и кольтрхитрости. Возможно, некоторые бактерии научились прикидываться своими, приклеивая опознавательные знаки эритроцитов или имитируя их. Не потому ли так заразна чума для человека, а для животных — сибирская язва? Ведь одна-единственная бацилла сибирской язвы смертельна для мыши. Почему мышинный организм не может победить одну бациллу? Может быть, потому, что не борется, считает своей клеткой?

А путешествие пока что возобновилось. Чтобы не заблудиться вторично, Тетеас решил не пробиваться в ближайшую вену, а возвращаться к нужному перекрестку назад по артерии, против тока крови.

Путешествие возобновилось, но совсем в ином темпе. Забылись стремительные броски, кидавшие Тетеаса то в легкое, то в сердце, то в руку. Теперь мой доктор медленно полз вдоль стенки артерии, упираясь лопаточками в эпителий. Содрогаясь, он выдерживал бомбардировку встречных эритроцитов, сыпавшихся сверху словно из мешка. Полз медленно, по миллиметру за минуту, в час сантиметра три, с остановками, сутки от ладони до локтя, еще сутки — от локтя до плеча. Впервые я ощутил всю громадность моего тела. Шутка сказать: по одной руке два дня пути. Обширное государство!

Впрочем, Тетеас не потерял времени напрасно. За эти два дня он разобрался, какие именно группы атомов служат опознавательными знаками для моего организма. Формула записана у меня в книжечке, но для вас она не представляет интереса, у вас формула иная. И теперь вместо красных тарелочек он мог повешать

на себя маленькие кусочки их тела. Все вместе они так громко кричали «Я свой, я свой!» на биохимическом языке, что встречаемые лейкоциты даже отшатывались, минуя Тетеаса.

Для безопасности Тетеас низжал на себя добрую тысячу кусочков, перепортил тысячу эритроцитов. Мне даже захотелось крикнуть: «Осторожнее, что ты там распоразжаешься чужим добром!» Как-никак мои эритроциты, моя кровь...

Умом-то я понимал, что эта скупость неосмысленная. В теле двадцать пять триллионов эритроцитов, донор жертвует без вреда триллионом сразу, в поликлинике для анализа мы отдаем миллионов сто. Естественным порядком ежедневно умирает четверть триллиона эритроцитов и столько же рождается взамен. Что там скучиться на тысячу, когда счет идет на триллионы? А все-таки жалко. Свои!

Итак, к концу второго дня пути по руке Тетеас вновь достиг развилки артерий: из артерии плечевой выбрался в дугу аорты. Из плечевой выбрался, стало быть, по ошибке вторично попасть туда уже не мог. Столь же неторопливо пробираясь против тока крови, через некоторое время оказался на следующем кроверазделе. Завернул туда. Удержался от соблазна кинуться в плазменные волны и в мгновение ока очутиться в мозгу. Плыл у самого берега, я подразумеваю стенки сосудов. Отцелившись на долю секунды, тут же хватался за эпителий и ждал, ждал терпеливо, пока Профу не удавалось запеленговать его сигналы, подтвердить, что он движется правильно — вдоль шейных позвонков от ключицы к черепу.

— И ты ничего-ничегошеньки не чувствуешь? — допытывался Гилик. — Ведь эта железная глиста лезет в твой собственный мозг.

Но я не ощущал ничего. Если напрягал внимание, казалось, что в шее легкий зуд. Вероятнее, воображаемый.

— Вступаю в мозговую ткань, — сообщил Тетеас час спустя.

— Ну-с, теперь святая святых, — сказал Гилик. — Мозг! Храм мысли! Картинная галерея воспоминаний и образов. Посмотрим, где у тебя там образ лаборатории, и образ экрана, и на том экране мозг, и в мозгу экран, и на экране мозг, и в том отражении отражение экрана...

Почему-то нравилось ему жонглировать словами.

Конечно, ничего такого мы не увидели на экране. Пролылали перед нами подобия амев, распластанных, как бы приколотых булавками с заостренными отростками различной длины, от которых отходили нити нервных волокон, длиннющие и коротенькие со спиральными завитушками, подходящими к спиральным завитушкам соседних клеток. И это был мой мозг. И не ощущал я, что это мой

мозг. И даже не верил, что это и есть мозг, потому что выглядело все это как сборище амёб.

Но Тетеас вскоре дал мне почувствовать, что он действительно в моем мозгу, не в чужом.

Началось с изжоги, но какой! Как будто в желудке у меня затопили плиту и пекут на ней блины. Пламя ползет по пищеводу, выше и выше; ловлю ртом воздух, хочу охладить воспаленное нутро. Но жар побеждает, перехватывает дыхание.

— Проф, пожалуйста, немножечко соды. Неужели нет двууглекислого кальция на всей вашей планете?

Но космический медик лечит меня совсем иначе. Он берется за радиомикрофон:

— Ису Тетеас, все идет правильно, ты в гипоталамусе. Находишься в центре регулировки кислотности. Вызвал повышенную кислотность. Выбирайся скорее, а то наш пациент наживает язву желудка.

Спустя несколько часов Тетеас — в центре терморегуляции. И снова я узнаю об этом по своей шкуре. Мерзнут губы, нос становится твердым и каменно-холодным. Руки и ноги зябнут, одеревеневшие пальцы не подчиняются мне больше, вместо пальцев белые восковые слепки приставлены к кистям. Я даже чувствую, в каком месте приставлены, оно как бы перетянuto ниткой. Нитки ползут вверх по рукам и ногам, холод течет по венам в туловище, к сердцу, к голове. Замерзает мозг. Мне видятся отвердевшие борозды, подобные замидевшей пашне в бесснежном декабре. Замерзшие мысли, словно снежинки, тихо-тихо, безмолвно оседают на одубевшие валики. Спать, спать, спать!

И почти без перехода лето. Пульс стучит в висках загонным перестуком, горят уши, горит лицо. Тугие нитки растворяются, кровь мурашками бежит в приставленные кисти рук и ступни. Жаром пышут румяные щеки, горячо глазам, горячо во всем мире. Все звуки становятся напряженно-гулкими, краски насыщенными, а очертания смутными, формы как бы тают в горячем воздухе. Чувства обострены, я вижу невидимое. Вижу, как в моем черепе плещется горячее озеро и на берегу его извилистый Тетеас. Он суетится, разжигая костер, он колет клетку на дрова, щепки летят брызгами, топор тук-тук. Дымят поленья, искры чертят темнеющее сознание. Тетеас, не надо! Тетеас, очень больно!

Просыпаюсь в поту. Слышу встревоженный голос Профа:

— Ису, осторожнее, температура сорок и девять. Человек в бреду, у него мутится сознание. Отметь, что это центр терморегуляции, и покидай его немедленно.

Затем черная меланхолия. Лежу в прострации, глаза полуза-

крыты, ладони на простыне. Все протяно, все гнусно, никчемно и безнадежно. Я сам ничтожный жалкий старикашка, надежды на омоложение беспочвенны. И вообще омолаживать меня незачем, потому что все мысли мои банальны, все слова бездарны, все планы необоснованны. Никому не нужен я ни в космосе, ни на Земле. Единственно разумное — немедленно удавиться. Но я не удавлюсь, не хватит воли и энергии, так и буду прозябать жалко, позорно, гадко.

Почему я скис? Реакция после жара?

Бывало у меня такое настроение в час изнеможения, после тяжелой усталости, часам к десяти вечера, а в последнее время и к шести. Я знаю, умом знаю, мыслям наперекор, что спорить с самим собой не надо, надо выспаться, к утру пройдет. Утро вечера мудренее и жизнерадостнее.

Но обхожусь без сна. Вдруг утро начинается само собой. Мир превосходен и захватывающе интересен. Моя спальня — сад, вся она в гаммах ароматов, песнях шелеста, шороха и перезвона. Я сам молодец, я умница, я все так хорошо понимаю и чувствую. У меня дар сверхсознания, мне открыто истинное величие вещей. Как хорошо любоваться, как хорошо дышать, ходить, стоять на ногах и на голове. А ну-ка встану на голову. Вот так, мах ногами, ступни вытянуты. Получилось! До чего же занятен мир, когда смотришь на него снизу вверх! Восторг! Экстаз! А пег я смогу в такой позе? Ну-ка: «Не счастье алмазов в каменных пещерах...»

Что это я разыгрался? На каком основании? И вспоминается основание. Где-то в мозгу у меня копошится стальной волосок по имени Тетеас. На этот раз он докопался до центра эмоций, до клеток горя и радости. Как раз незадолго до моего отбытия ученые Земли нашли эти центры у крыс и кошек. Научились вводить туда электроды, вызывать наслаждение электрическими импульсами. И подопытные крысы сутками нажимали педаль, включая ток. Жали и жали, отказываясь от сна, отказываясь от пищи. Наслаждались ничем и падали в изнеможении, упившись ничем.

И вот я в роли подопытной крысы. Я — не я лично, я — марионетка, которую дергают за ниточку. Я рояль, я обязан издавать звуки, когда нажимают на клавиши. Нажали «до» — я веселюсь, нажали «ре» — плачу. На «ми» — жадно глотаю пищу, на «фа» — меня тошнит от сытости, «соль» — мечтаю о женщине, «ля» — спать хочу...

А я не желаю подчиняться. Не «ля», не буду спать!

До! До-диез! До-до-до!

Не рояль. Не намерен радоваться. Напрягаюсь. Кусаю губы, чтобы сдерживать дурацкую улыбку. Стараюсь думать о неприятном.

Как скверно, что я пустил к себе в мозг эту бесцеремонную змейку! Теперь я не Человек, я раб ее экспериментов. Кончена разумная жизнь. Попался на приманку молодости, обманули, теперь плачь об утерянной свободе! Ага, я хочу плакать, а не радоваться! Не будет кретинских смешков. Чья взяла?

Голос Тетеаса:

— Есу Проф, докладываю, что клетки центра почему-то теряют чувствительность. На прежние импульсы реагируют гораздо слабее. Повысилось электрическое сопротивление. Может быть, объект устал, опыт надо отложить?

— Ты устал, Человек, хочешь отдохнуть?

Гилик выдает меня:

— Ничего не устал. Это он тужится, чтобы удержаться от смеха. Весь надулся. Я-то чувствую, сидя в его карманах.

— Человек, это очень важно. Значит, ты можешь усилием воли подавить центр радости? Ису Тетеас, надо исследовать, по каким каналам приходит в гипоталамус торможение. Напрягись, пожалуйста, Человек. А теперь расслабься, старайся не гасить радость.

Радуюсь по заказу. Радуюсь по просьбе.

Крыса! Если не рожь, то крыса.

Но вот приходит день, когда Тетеас, пока еще не очень уверенно, объявляет:

— Есть гипотеза. Мне представляется, что я разобрался. Главную роль тут играет центр горя, он и расположен в самом средоточии информации, на перекрестке нервных путей. В момент перенапряжения сильные токи разрушают соседние центры — кислотности, терморегуляции и прочие.

— Это правдоподобно,— сказал я.— У нас считают, что язва желудка — болезнь нервного происхождения.

— Еще я заметил,— продолжал Тетеас,— что оболочки нервов здесь особенно тонкие. Похожи на электрические предохранители: вставляется в цепь слабое звено, всегда известно, где перегорит в первую очередь. Видимо, пароксизмы горя пережигают нервную связь мозга с гипофизом, прекращается регулировка желез, а отсюда старческие болезни.

Проф замечает, что такое правило было бы целесообразно и с точки зрения естественного отбора (законы Дарвина действуют на всех планетах). Многочисленные горести означают несоответствие организма внешней среде, его неприспособленность. И природа спешит списать неудачника, чтобы он поменьше жил и поменьше оставил потомства.

— Гипотезу можно принять: за основу,— заключает Проф.

— Но ее проверить надо,— говорит Тетеас скромно.— Мне нужно для опыта чрезмерное горе. Я пробовал вызвать его механическим раздражением, но Человек тормозит. Человек, не сопротивляйся! Прощу тебя, помоги мне. Усиль горе. Как ты возбуждаешь себя? Воображением? Вообрази что-нибудь очень горестное.

«Рояль, сыграй печальной! Траурный марш, пожалуйста!»

Я полагал, что мне ничего не стоит вообразить тоску. Воображать — моя профессия. Допустим, я потерял деньги, крупную сумму. Впрочем, деньги — дело наживное. Допустим, я потерял рукопись. Работал пять лет и потерял.

Но тоска почему-то не получается. Я представляю себе, как я сижу, обхватив голову руками, и думаю, что мужества терять не надо. Остались черновики, остались планы, образы, мысли. То, что сочинялось пять лет, за два года может быть восстановлено. Словесные находки забудутся, ну и что ж? Те находки я нашел, найду другие.

— Человек, ты опять тормозишь!

Нет, надо вообразить что-нибудь непоправимое. Что может быть непоправимее смерти? Что может быть огорчительнее для меня лично?

Вот я умираю, лежу на больничной койке. Вокруг стирания белизна больницы, кислый запах лекарств, пролитых на блюдечко. Изможденное лицо жены, постно-меланхолические физиономии прочих родственников, вымученные слова о том, что я сегодня выгляжу гораздо лучше. Внуки, томясь, косятся на часы, прикидывают, сколько еще надо высидеть для приличия, у сына лицо озабоченное, притворяться ему не надо, забот свалится предостаточно: паспорт сдавать, справку получать, венок заказывать, мамочку утешать, поддерживать. Жена плачет искренне, со мной уходит ее самостоятельная жизнь, уходит в прошлое, в воспоминания. Теперь она будет бабушкой при внуках, придатком к семейству. За ней суровое лицо медсестры: сестра недовольна, кажется, этот больной затеял умирать ночью, на дежурстве не поспишь. О чем думаю я? Ни о чем. Я дышу, вкладывая усилия в дыхание, во вдохи и выдохи. Что-то клокочет, царапает, давит, душит, но я дышу, уповая (единственная мысль), что потом будет легче.

— Человек, ты мне не помогаешь ничуть.

Да, верно, тоски я не ощущаю. Подавляет профессионализм — я занят подыскиванием слов. Оказывается, не то у меня воображение: нужно артистическое вживание в образ, а я воображаю, как неприятно выглядит, какие слова подобрать для описания.

Гилик говорит:

— Слабовата фантазия у этих хилых фантастов. Я бы надеялся больше на физические действия. Если дать по шее как следует, он огорчится сильнее.

И эти инквизиторы всерьез начинают рассуждать, какую боль мне надо причинить, чтобы пронять до глубины гипоталамуса. Достаточно ли пощечины? Или содрать кожу? Или лучше обжечь? И какого размера ожог даст необходимый эффект?

А я соглашаюсь на мучительство. Сажусь в кресло пыток и отдаю им свою левую руку, как Муций Сцевола. Скорее как христианский мученик, всходящий на костер во имя второй, загробной жизни. Я же надеюсь получить вторую молодость, подлинную, полнокровную, и употреблю ее со смыслом. Говорят: «Если б молодость знала, если б старость могла». Я уже знаю, чего хочу, а кроме того, смогу.

Дикая боль. Это Гилик прижег меня раскаленными щипцами. Раскалил и прижег, как заправский чертенок в аду.

Фух! Отдуваясь,тираю пот со лба. Дую на ожог.

— Что же ты улыбаешься, Человек?

— Извини, Проф, я подумал, что самое скверное позади. И за это предстоит приятная молодость. И еще я думал, как я на Земле начну омолаживать. Сколько радости будет! Как я жене скажу: «Ну, как, матушка, хочешь быть восемнадцатилетней?»

— Ису 124/Б, ты получил нужный эффект?

— Кратковременный и непрочный, — отвечает Тетевс.

— Без членовредительства не обойтись, — говорит кровожадный Гилик. — Давайте руку отрубим или вырвем глаз.

Проф предпочитает вернуться к моральным несчастьям.

— Ну, вообрази что-нибудь очень скверное, Человек. Представь себе, что наши опыты провалились, надежда на молодость лопнула.

Я сказал, что они смертельно надоели мне со своими опытами, я готов обжечь руку вторично, лишь бы они отвязались от меня раз и навсегда.

А потом пришел тот страшный день, 23 марта по нашему земному календарю.

Они явились ко мне раньше обычного — Гилик и Проф со всеми своими помощниками — естественными и искусственными. На лицах у естественных я уловил выражение старательного сочувствия. У Ису, само собой разумеется, выражения не было, на их физиономиях нет лицевых мускулов. Проф начал какой-то туманный разговор о некоторых обстоятельствах, которые бывают сильнее нас, и о том, что каждый исследователь должен ограничить себя, чтобы результаты, хотя бы и не окончательные, наступили своев-

временно, что я, наверно, наметил себе срок пребывания в Шаровом и надо бы привести планы в соответствие с этим сроком...

— К чему вы клоните? — спросил я. — Не выходит с молодостью? Так и скажите. Ну и не будем тратить время.

И тут влез этот чертенок Гилик-переводчик.

— Не тяните, Проф. Человек — взрослый человек, он умеет переносить удары. Суть не в опытах, Человек. Суть в том, что налажена связь с твоей Землей. Получены известия. Плохие. У вас там атомная война.

— А Москва? А мои?

— Сам понимаешь... Кратер...

Все перегорело. Зачем тогда жить?

— Ты, Человек, не торопись с решением, — сказал Проф. — Ты подумай, как тебе действовать. Если хочешь, оставайся с нами, если хочешь, вернешься позже, когда твои соземляне образуются.

— Нет.

Ни минуты нельзя было терять, ни секунды.

— Давайте составим радиogramму в Главный Звездный Совет. Пусть мне дадут энергию, самую грозную, которой у вас режут пространство и гасят звезды. Я наше Солнце погашу на время. Только потрясением можно остановить войну сразу. Пишите!

И в ответ услышал глуховато-гнусавое:

— Спасибо, есть нужный эффект. Можно снимать напряжение. Скажите ему, что это был опыт горобразования.

...Как я бушевал! Гилика я выкинул за окно, живое существо разбилось бы насмерть на его месте. Профа загнал под кровать, он у меня там икал от страха. Я бился головой об стенку, очень уж мне хотелось, чтобы стало муторно этой спирохете, засевшей в моем мозгу. Только одно меня утешало: как хорошо, что все это вранье!

Итак, Тетеас получил нужный эффект. Издевательский опыт подтвердил его гипотезу. Действительно, токи сильных огорчений разрушали близлежащие клетки и нервную проводку, в частности ту, которая управляла работой гипофиза. Задача состояла в том, чтобы восстановить мертвые клетки. Тетеас составил проект капитального ремонта, там была и пересадка нейронов и замена аксонов проводками. Но думаю, что подробности не представляют интереса, у каждого человека все это устроено по-своему. Проект обсуждался довольно долго. Наконец Тетеас получил «добро» и приступил к манипуляциям.

Признаюсь, я был несколько огорчен даже, когда, проснувшись на следующий день, по-прежнему увидел в зеркале седые виски и морщины. Умом-то я понимал, что волшебного превра-

щения быть не может. но очень уж хотелось уловить явные приметы обновления. И в первые дни я подходил к зеркалу ежечасно, вглядывался, отходил разочарованный. Потом оталекся, забыл, перестал следить... а приметы появились.

Омоложение шло, как и старение, медленно, вкрадчиво, но в обратном направлении. Старея, я терял, сейчас — приобретал утерянное. Год назад, пройдя десять километров, лежал в изнеможении, а сейчас и двадцать — пустяки. Месяц назад проработал лишний час, лег не вовремя, голова болит поутру. А тут ночь просидел, сунул лицо под край, и начинай сначала. Заблудился в горах, попал под дождь, промок до нитки, шел и думал: «Ах, как бы не слечь, ванна, горчичники, в постель поскорее!» Но повстречался Проф, что-то мы обсудили, не договорились, заспорили. Пока спорили, одежда обсохла. Хватился: а как же ванна, горчичники? Обошлось.

Потом стал замечать: хожу иначе. Если думаю о дороге — выбираю путь покороче, поровнее. Если не контролирую себя, прыгаю через канавы с разбега. Зачем? Просто так, от избытка сил.

И еще (пусть жена меня извинит) — женщины в голове. На местные, конечно: у чгедегинок хоботок вместо носа. Но о возвращении на Землю начал я думать иначе. Прежде представлял себе одно: зал заседаний Академии, я на кафедре, в руках у меня указка, напряженное внимание в зале, шепот удивления. А сейчас качикаю с икого: улица Горького, зной, разгоряченная толпа, горячий асфальт утыкан следами каблучков и плывут-плывут навстречу купола причасок — соломенные, шатеновые, русые, черные, огненные или пепельные, выкрашенные под седину. Дробно стучат туфельки, дыхание колышет блузки, мелькают розовые коленки под короткими юбками. Дням-то я прогонял эти видения, но они возвращались во сне.

И вернулось то, что казалось мне главным, — утерянное ощущение перспективы. Все успею, все сумею, не сегодня, так завтра или через десять лет. И даже имеет смысл отложить, потому что завтра я буду лучше: опытнее и умнее.

— Тетеас, вылезай из меня! — кричал я своему целителю. — Хочу поблагодарить тебя, дорогой мой цельносварной лейб-енгел. Посидим за штепселем и кружкой, вспомним мои переживания и твои приключения. Вылезай, мегатация подготовлена.

Мегатация — это увеличение, противоположность миллитации, надеюсь, вы догадались? Выполнив свою задачу, микрохирург должен был укрупниться и в дальнейшем работать со своими собратьями нормального размера в лабораториях.

Но Тетеас не спешит к праздничному столу:

— Подчистить надо,— твердит он.— Проверить. Я не уйду, пока тут останется хотя бы одна пылинка. Организм требует стерильной чистоты.

И даже обижался:

— Почему ты гонишь меня? Я тебе надоел, наскучил?

— Нет, я бесконечно благодарен тебе, я думаю, что ты заслужил отдых и награду.

— Тогда почитай мне в награду главу из Книги обо Всем.

Я читал. Тетеас слушал и восхищался. К сожалению, его восторги нельзя было принимать всерьез. Ведь он был запрограммирован на восхищение.

Покончив с ремонтом в мозгу, Тетеас теперь инспектировал все тело, устраняя мельчайшие неисправности. Он отрегулировал рецепторы давления, срезал бугорки на клапанах сердца; у меня действительно исчезла одышка, к которой я уже привык. Побывал во рту, заломбировав один зуб, продезинфицировал миндалины, выгреб какую-то дрянь из аппендикса. Право, мне благодарить следовало бы, а я ворчал. Но очень уж бесцеремонно распорядился в моем организме Тетеас. Поистине, как та рачительная тетька Ася, глубоко уверенная в том, что порядок на столе важнее работы за столом.

— Сегодня ешь поменьше и ложись сразу после обеда,— командовал Тетеас.— Буду накладывать шов, потом полежишь недельку.

— Но я обещал прилететь на планету Кинни.

— Кинниане подождут. Если шов разоидется, никуда не полетишь.

Все это умиляло и раздражало. Хотелось все же быть хозяином самому себе, выписаться из больных раз и навсегда.

Однажды я так и сказал прямо:

— Тетеас, кончай с мелкими доделочками. Главное ты совершил, дал организму молодость, теперь хозяин справится сам.

На мое несчастье Гилик слышал это заявление. И какую отповедь я получил! Давно уже мой гид не был так речист и зол.

— Хозяин! — вскричал он.— Это кто хозяин? До чего же бездонно самообольщение человеческое! Да вспомни всю историю твоего лечения. Ты не хотел стареть, но не мог приказать себе не стареть. Ты не хотел сесть, но волосы твои выцветали, потому что фагоциты — стражи твоего же тела пожирали черный пигмент. И ты не мог приказать своим кровохранникам оставить твои же волосы в покое. И не мог приказать им допустить в организм лекарства-целителя, они на него капали, пытались сгноить и вытолкнуть. И если по легкомыслию ты потеряешь руку, ногу или почку и док-

тора попробуют прирастить тебе чужую, твой упрямый организм будет отторгать и рассасывать чужую почку, потому что она чужая, умрет, а помощи извне не примет. Ты считаешь себя хозяином тела? А разве можешь ты выпрямить свой горбатый нос, сделать карие глаза голубыми, прибавить себе хотя бы пять сантиметров роста? Поздно. А в юности ты мог остановиться, прекратить рост по желанию? И еще раньше, когда ты был зародышем, твоя родительница могла выпрямить тебе нос или сменить цвет глаз? Ты, кажется, говорил, что она мечтала о девочке? Мечтала об одном, вырастила другое. И разве нет у вас на Земле женщин, которые не хотят вообще детей, не хотят, но растут в себе; люди прорастают, словно картошка. Какие вы хозяева? Автоматы!

И пошло с того дня:

— О всезнающий, скажи, какие запасы пищи в твоей печени? Владыка тела своего, прикажи своему горлу не кашлять!

Даже Тетеас однажды вступился за меня:

— Что толку надоедать Человеку? Упражнявшись в словосочетаниях.

Гилик сказал важно:

— Я за истину, неприкрашенную и математически точную. Эти заносчивые есу воображают себя высшим достижением материи, а на самом деле они — конгломерат ошибок природы, ее бездумной инерции, вчерашний день развития.

— Опять словосочетания. Ты лучше придумай, как помочь.

— Я помогаю установить истину. Пусть Человек поймет, что он вчерашний день развития. А помочь вчерашнему нельзя. Вчера кончилось вчера.

Но Тетеас, этот старательный волосок, блуждающий между моих клеток, придумал, представьте себе.

— Я понял, в чем твоя беда, Человек, — сказал он мне несколько дней спустя. — Твоя беда в многовластии. У твоего тела много хозяев и не все они подчиняются уму.

— Что ты имешь в виду? Желудок, сердце?

— Ни то ни другое. У тебя пять систем управления, я их перечислю. Самая древняя — генетическая, наследственный проект тела. Вторая система — кровь с эндокринными железами — ведет этапами развития, ростом, зрелостью, а также временными режимами. Система третья — нервы — командует автоматическими движениями и органами. Четвертая — эмоциональная, в ее распоряжении опыт, привычки, чувства: гнев, радость, горе. И ум твой, сознание — только пятая из систем, самая разумная, самая новая, созданная для общения с внешним миром и не очень вникающая в дела внутренние.

— То есть ты хочешь подчинить сознанию чувства?

— Не только чувства, но и органы, кровь и гены, температуру, давление, борьбу с болезнями, рост, внешность. Чтобы ты мог сказать: «Хочу, чтобы нос был поменьше»,— и нос укоротится. «Хочу, чтобы у меня были жабры»,— будешь дышать под водой, как рыба. Вот когда ты поистине станешь хозяином своего тела, тогда я и покину тебя со спокойной совестью.

— Но это значит никогда,— воскликнул я.— Жабры вырастит? Сказка!

— Почему сказка? Жабры состоят из обычных клеток, примерно таких, как в легких, и из кровеносных сосудов. И ты сам говорил, что у человеческого зародыша есть зачатки жабр. Значит, организм матери мог вырастить жабры. Не вырастил, потому что программа была иная и никакой возможности вмешаться. Не связаны гены с сознанием матери. Не было связи, только и всего. Вот я и хочу наладить подобную связь в твоём теле.

«Бред!» — подумал я. Но заманчивый бред, между прочим.

Последующие дни я провел в тяжких спорах. Не с Тетеасом, миниатюрным прожектором, с самим собой. Во мне самом спорили трезвый скептик Не Может Быть и энтузиаст-мечтатель Очень Хочется.

— Не может быть такого,— говорил Не Может Быть.— Черты лица зависят от собственного желания? Ненаучная фантастика. Нельзя переделать свое лицо, каждый знает.

— Да, но...— возражал Очень Хочется,— но и в космосе летать нельзя было. А внешность почему нельзя менять по собственному желанию? Тетеас говорит: «Потому что нет связи между волей и клетками». Ну а если наладить связь?

— Ничего не выйдет хорошего,— твердил скептик Не Может Быть.— Если бы связь была полезна телу, природа проложила бы ее. Мало ли что кому взбредет в голову: кому захочется три глаза, кому четыре уха. И хорошо, что нет возможности лепить по своему капризу нежизнеспособных уродов. Нельзя давать скальпель в руки несмышленишу.

— Да, но, возможно, природа не успела дать скальпель,— отставал мечту Очень Хочется.— Разум — полезный инструмент, но он изобретен всего лишь миллион лет назад. Еще не распространял свою власть на глубины тела.

— Наобъятного не обнимешь,— упорствовал скептик.— В теле сто триллионов клеток, в мозгу — всего лишь пятнадцать миллиардов, сознанию отведено миллиардов пять. Как может разум уследить за каждым лейкоцитом, за каждой растущей клеткой, за каждой белковой молекулой в клетке?

— А Разум и не должен следить, не должен распоряжаться каждой клеткой. Разве командующий фронтом дает приказ каждому солдату в отдельности? Он определяет общую задачу, а генералы, офицеры и сержанты конкретизируют, уточняют, доводят.

Скептик возражал:

— Но командующего понимает вся армия, от генерала до солдат, все они объясняются на едином языке. А солдаты твоего тела, если молекулы это солдаты, не понимают разумных слов, и ты не знаешь четырехбуквенного шифра генов. Как ты скажешь: «Делайте мне голубые глаза!» И в каком из ста тысяч генов записана голубизна глаз? И даже если ты произнесешь «церезин — тио-мин — церезин», разве тот ган поймет тебя и перестроится?

Только сутки спустя, накопив новые соображения, оптимист Очень Хочется снова вступил в спор:

— Верно, языки разные в теле, не все доступные разуму, но есть многостепенный перевод. Клетки понимают химические приказы гормонов крови; железы, посылающие гормоны, понимают электрические сигналы спинного и головного мозга, реагируют на страх, гнев и восторг. А страх и гнев можно подавить или вызвать воображением.

Вот так: с воображения начинаются приказы телу.

Должен буду я, Очень Хочется, воображать то, что мне хочется.

Если не желаю стареть, должен представить себе, что не старею. Иду по улице статный, легконогий, грудь колесом, кудри колечками. И если попал в катастрофу, остался без ноги, тоже — начинай работать, воображенной! Представим себе, что у меня растет потихоньку нога: припухло, а вот уже и кость прощупывается сквозь повязку, вот образуется коленный сустав...

Скептик Не Может Быть возмущен:

— Вообразить можно что угодно, но невыполнимого не исполнишь. Человек не способен к регенерации. У взрослого кости жесткие, окончательные.

— Но ведь есть же такая болезнь акромегалия, когда растут кости лица, ступни, кисти рук у взрослого.

— Там простой рост, увеличение. А тут сложное развитие. Такое только у зародыша возможно.

— Пусть так, начнем с зародыша. Ведь он весь происходит из одной клетки. Из нее возникают и кости, и мозг, и ноги. Возникают по генетической программе. Но разве нельзя ее подправить? Чем? Хотя бы гормонами крови, ее химическим составом. А как регулировать состав? Воздействуя на железы? А как приказывать железам? На воображении ли?

И когда-нибудь будет так:

— Дорогая мамаша, кого вы хотите, дочь или сына? Сына? На вас похожего или на отца? Блондина, брюнета, стройного или крепьша, смелого или осторожного, бойкого или спокойного, математика или поэта? А теперь представьте себе, вообразите как можно яснее. Думайте о нем почаще, закройте глаза и думайте. Или нарисуйте и смотрите на портрет. Главное, образа не меняйте. Ужас какой! Каждая дуручка будет лепить оперного тенора.

— А разве лучше лотерея, кот в мешке?

В общем, я загорелся и разрешил Тетевасу изучать мою внутреннюю администрацию на всех пяти ступенях. И заключили мы с ним договор, что 23 часа в сутки он меня не тревожит, копается молча и осторожно, так чтобы меня не тошнило и нигде не болело, а один час я в его распоряжении, выполняю тесты, тренирую волю, отдаю приказы, воображаю..

Важен заведенный порядок. Когда этот медицинский час вошел в привычку, я перестал тяготиться присутствием ису, не думал больше об избавлении от внутреннего врача. Ну и пусть он живет в моих сосудах, внимательный и хлопотливый, незаметный и необходимый, как диспетчер городской электростанции. Час в сутки можно уделить биологической мечте и своему здоровью и беседам с неутомимым другом, запрограммированным на материнскую заботу обо мне.

Интересно, а вы, читающие эту историю, согласились бы впустить в свою кровь такого миниатюрного доктора?

Мальчишки, конечно, пришли бы в ужас: «Ни за что! И так хватает менторов. Будет поучать изнутри: «Не лезь в холодную воду, не ешь конфет, не ковыряй болячку!» А женщины? Кто из вас откажется от ежедневного домашнего врача, с которым можно поговорить о том, что волосы секутся и кожа лоснится? Матери будут рады иметь при ребенке постоянного опытного куратора, личного врача-педиатра, всецело посвятившего себя младенцу.

Так что, я думаю, со временем одноплеменники Тетеваса станут необходимостью быта на Земле, и никого не удивят слова, приведенные в эпиграфе: «Хирурга глотайте быстро и решительно; чтобы не застрял в горле, запейте водой!»

У меня же был интерес особый. Мой доктор не только лечил меня, но и собирался усовершенствовать, сделать сознательным скульптором своего тела, волатворцем. И каждый день не без нетерпения я расспрашивал, как идет его работа, а он с таким же любопытством пытал меня, как я переделаю себя, когда получу обещанный дар волатворчества.

И я фантазировал...

Нет, не буду рассказывать, какие планы я строил, потому что не суждено было им осуществиться...

Я все-таки собрался на Кинни. Это приятная планета земного типа с прозрачной атмосферой, бледно-зеленым небом и морем малахитового оттенка. И жизнь там, как на всякой планете земного типа, белковая, стало быть — съедобная. А я смертельно устал от стерилизованной курятины, рожденной в ретортах, соскучился по живому мясу. Так что на Кинни я все время жевал, набивал рот то котлетами, то ягодами, то желудычками — это такие морские животные, не то моллюски, не то ракообразные, по виду похожие на желуды, а по вкусу — на семгу. Их неисчислимы стада в кинниских морях. Когда плывешь в лодке, опускаешь шляпу за борт и черпаешь, словно фрикадельки половником. И я черпал, наслаждался жирно-солененьким, жевал, сосал, глотал. Совсем забыл, хотя меня и предупреждали, что среди желудычек попадаются старые особи со скользкой жесткой кожей, которую не прокусишь.

И вот я сидел в лодке лакомился: хруп-хруп-хруп... Вдруг — словно старый орех, аж зубы затрещали. Вздохнул от боли, И желудычек этот скользнул прямо с зуба в дыхательное горло.

Я так и застыл с открытым ртом. Хриплю, давлюсь, кашляю... Руки поднял... как меня учили в детстве... Не выскакивает.

Проф был со мной в лодке. Хлопает он меня по спине, толку никакого. Вспомнил про радио. Слышу, кричит:

— Ису 124/Б, срочно — в дыхательное горло! Человек подавился. Спешит прочистить.

А я уже задыхаюсь. Небо позеленело и перед глазами огненные круги.

Вдруг вытолкнул. Тыфу, сплюнул за борт. Сижу, дышу, отдуваюсь. Дух перевел, тогда спрашиваю:

— Ису Тетевас, проверь, нет ли в горле царалины.

Молчание.

— Ису, ису, радио у тебя заглохло, что ли?

Не отвечает. Что за причина?

И тут меня словно током ударило:

— А не упал ли он в море вместе с желудычком?

Я нырял до заката, я нырял весь следующий день, я вытаскивал горсти желудычков и каждый пробовал на зуб. Но сами понимаете, все это было актом отчаяния. Найдешь ли иголку в стоге сена, пылинку на болотной ряске, монетку в песчаной куче? Если бы хоть радио у него работало. Но, видимо, вода глушила волны. Первое время нам чудилось что-то вроде «СОС», потом и

эти сигналы смолкли. Вероятно, сели аккумуляторы. Ведь заряжался-то Тетеас от моей нервной системы.

Будь у него нормальный рост, может, он и выплыл бы. Но для него, крошки, три сантиметра в час — предел. Разве это скорость для моря? Конечно, он не захлебнулся, кислород ему не требуется. Он остался на дне и лежит там и будет лежать, пока не прожавеет.

Ржавеет! Разумный ису, врач с высшим образованием. Исследователь. Автор идеи о людях будущего — волеаорцах. Нет справедливости в природе.

Я не мог успокоиться, не мог простить себя. Сохрушался. Клял себя. Нырлял снова. Перебирал желудяки. Твердые рассматривал под микроскопом. Совал в них булавку с антенной. Мегатировал.

Попусту!

Конец мечте!

Проф пробовал утешить меня, говорил, что чертёжи сохранились, на Чгадегде смонтируют другого эндохирурга, обучат его, проинструктируют, я снова получу лайб-ангела, который продолжит начатые исследования, сделает меня всеильным волетворцем.

Разве только в мечте дело?

Друга я загубил, маленького, но самоотверженного, запрограммированного на любовь и заботу обо мне. А чем оплатил я за заботу? Потерял.

Потерял!

Люди уходят-тоже. И забывается облик, голос, любимые выражения, манеры... Что остается надолго? Незавершенное дело.

Я постепенно забываю говор Тетеаса, его повадки и слова, стираются в памяти кадры с палочками, шариками, тяжами и овалами, но все чаще, все настойчивее думаю я о незавершенном:

— Хочу, чтобы ты стал хозяином своего тела!

— Ты хочешь быть талантом? Будь! Хочешь быть красавцем? Будь красавцем. Вообрази себя Аполлоном, пусть нос будет прямой, зубы ровные, плечи широкие, стан стройный, глаза большие, брови густые, лоб высокий! Еще выше, еще! Представь, какой именно! Напряги воображение, напряги волю!

— Не выйдет.

— А если попробовать, потренироваться, поднатужиться?

— Не выйдет все равно.

— А если нечеткую волю подкрепить техникой?

— Как?

— В том-то и дело: как?

30 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
Москва 1970